

Ремизов Алексей

Крестовые сёстры

АЛЕКСЕЙ РЕМИЗОВ

Крестовые сёстры

Повесть

Посвящаю С. П. Ремизовой-Довгелло

Глава первая

Маракулин дружил с Готовым вовсе не потому, что служебное дело их одно с другим связывалось тесно, один без другого обойтись не мог: Петр Алексеевич талоны выдавал, Александр Иванович кассир.

Порядок известный: Маракулин только чернилами напишет, а Готов точно то же только золотом отсчитает.

И оба они такие разные и непохожие: один узкогрудый и усы ниточкою, другой широченный и усы кота, один глядит изнутри, другой расплывается.

А все-таки приятели: хлеб-соль одна.

Была у них у обоих приметина - качество, и такое коренное, никак его не спрячешь, у сонного под веками поблескивать будет, и притом совсем неважно, запихано ли оно в зрачке где или из зрачка вон по яблоку разбегается: хоботок словно либо усик какой у них у обоих один был, и хоботок этот не то, чтобы к жизни прицеплялся, а как-то всасывал в себя все живое, все, что вокруг жизни живет, до травинки, которая дышит, до малого камушка, который растет, и всасывал с какою-то жадностью и весело, да как-то заразительно весело. Вот оно что.

Кому надо, видели, кто не видит, чувствовали, а кто не чувствует, догадывались.

Ну и молодость - обоим что-то по тридцати или по тридцати с чем-то, и удача - тому и другому как-то все удавалось, и крепкость - и тот и другой никогда не хворал и ни на какие зубы не жаловался, и нет никакой связанности ни законной, ни незаконной, как в степи один, а развернулась степь во всю ширь и мощь вольная, свободная, раздольная - твоя.

Года три, кажется, назад Готов жену свою законную с третьего этажа на мостовую выбро-сил, и у бедняжки череп пополам, и не три года, нет, пожалуй, уж все четыре будет, впрочем, все равно, дело совсем не в Готове, а в Маракулине, о Маракулине Петре Алексеевиче речь. Заражая своих сослуживцев весельем и беззаботностью, Маракулин признавался как-то, что ему хоть и тридцать лет, но почему-то, и сам того не зная, считает он себе ровно-неровно, ну лет двенадцать, и примеры привел: когда, скажем, случается ему встретить кого или в разговор вступить, то все будто старшие - старые, а он младший - маленький, так лет двенадцати. И еще Маракулин признавался, что на человека он нисколько не похож, по крайней мере, на тех настоящих людей, которых постоянно увидишь в театре, на собраниях, в клубах, когда входят они или выходят, говорят или молчат, сердятся или довольны, ну, ни чуточку не похож, и что у него, должно быть, начиная с носа до маленького

пальца, все не на своем месте сидит, так ему кажется. И еще Маракулин признавался, что он никогда ни о чем не думает, просто не чувствует, чтобы думалось, и если идет он по улицам, то так и идет, ну, просто ногами идет, а когда знако-мят его, то различий он никаких не замечает и никаких особенностей ни в лице, ни в движениях своего нового знакомого и только смутно чувствует, что один притягивает, другой отталкивает, один ближе, другой дальше, а третий - все равно, но чаще преобладает чувство близости и уверенности в благожелательстве. И еще Маракулин признавался, что, с тех пор как начал он книги читать и с людьми столкнулся, самые противоположные мнения его нисколько не пугали и он со всеми готов был согласиться, считая всякого по-своему правым, и спорить не спорил, а если прорывался и даже сам задира, то по причинам совсем бесспорным, о которых, между прочим, всякий раз прекрасно сознавал, только виду не показывал,- мало ли сколько таких причин бесспорных, житейских! И еще признавался Маракулин, что он сроду никогда не плакал, и всего один раз, когда уходила старая нянька, в последний ее день: тогда, забравшись в чулан, он захлебывался от первых и последних слез. И было у него одно примечательное сумасбродное свойство, над которым обычно посмеивались: взбредут ему в голову пустяки какие-нибудь, и он так за них ухватится и с таким упорством, словно бы вся суть в них и его собственной жизни,- ведь целое дело из пустяков себе выдумает! К празднику директору подается отчет, отчет обык-новенно пишется на машине - самый обыкновенный отчет, а вот ему почему-то непременно захочется самому переписать и своею рукою, и, хотя на машине скорее можно сделать и легче и проще и бланки такие есть, это его нисколько не смущает, как можно! - и ночи и дни он упорно выводит букву за буквой, строчит ровно, точно бисером нижет, и не раз переписет, пока не до-бьется такого отчета, хоть на выставку носи, вот даже какого! - почерком Маракулин славился. Завтра же этот отчет заложат куда-нибудь в бумаги, особого внимания никто не обратит, никому он такой не нужен, а времени и труда затрачено много и без толку. Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный. Да вот еще, и чуднее еще рассказывал Маракулин о какой-то своей ничем не объяснимой необыкновенной радости, а испытывал он ее совсем неожиданно: бежит другой раз поутру на службу и вдруг беспричинно словно бы сердце перепорхнет в груди, переполнит грудь и станет необыкновенно радостно. И такая это радость его, так охватит всего и так ее много, взял бы, кажется, из груди, из самого сердца горячую и роздал каждому,- и на всех бы хватило, взял бы, как птичку, в обе горсти и, дуя ртом, чтобы не зазябла, не выпорхнула эта райская птичка, понес бы ее по Невскому: пускай видят ее, и вдохнут тепло ее, и почувству-ют свет ее, тихий свет и тепло, каким дышит и светит сердце от радости.

Конечно, сам себя не рассудишь, на признаниях не выедешь: было, не было,- кто разве-рет? - но любовь к жизни и чутье к жизни, веселость духа, это в нем было правда.

Слушая Маракулина и видя, как он к людям подходит, по улыбке его и взгляду, приходила иной раз мысль, что вот такой, как он, во всякое время готов к бешеному зверю в клетку войти и не сморгнуть, и не задумавшись руку протянет, чтобы по вздыбившейся бешеной шерсти зверя погладить, и зверь кусаться не будет.

А как Маракулин огорчался, когда нежданно и негаданно открывалось, что и его, как и вся-кого, ненавидеть могут, что и у него есть свои недоброхоты, что и он для кого-то, и бог знает из-за чего, бревном в глазу сидит!

А ведь с Маракулиным что угодно можно было делать!

И если он умудрился до тридцати лет дожить и удачно, тут уж одно чудо - вещь неверо-ятная.

Да, скорее, Петра Алексеевича любили и не как-нибудь там крепко и очень, но ведь и не за что было не любить его - веселье и смех и не простой, а пьяный какой-то, маракулинский, за что же ненавидеть его!

И все-таки кончилось все не очень любовно, плохо кончил Петр Алексеевич.

Так было: ждал Маракулин себе к Пасхе повышения и награду - в богатых торговых конторах к празднику порядочно приходится наградных, а вместо повышения и наградных его со службы выгнали.

Так случилось: пять лет служил Петр Алексеевич, пять лет заведовал талонными книжка-ми, и все было в полной исправности и точно - Маракулина за его аккуратность и точность в шутку немцем прозвали, - а затеяли директора перед праздниками проверять книжки, да как стали сверять и считать - и произошла заминка: ровно бы что-то не сходится, чего-то не хватает, и, может быть, сущих пустяков не хватало, да дело-то большое, пустяки эти и путаница все дело запутать могут.

И книжки у него отобрали, и его по шапке.

На первых порах Маракулин и не поверил, просто отказался поверить, думает себе: вроде шутки с ним отшучивают, трублю какую оттрубливают потехи ради, для пущей веселости, так вот - перед праздником!

Сам смеется, пошел объясняться, и тоже не без шуточки.

- Позвольте, мол, вору такому-то, и разбойнику и шишу подорожному в воровстве объясниться...

- Что-с?

- Ха-ха...- сам первый смеется.

А в одном письме своем объяснительном и к лицу очень важному и влиятельному - директору, подпись подписал, и не просто Петр Маракулин, а вор Петр Маракулин и экспро-приатор.

"Вор Петр Маракулин и экспроприатор".

- Что-с?

- Ха-ха...- сам первый смеется.

Да шутка-то, видно, не удалась, смешного ничего не выходит, или выходило, да не замечали, и смеяться никто не смеется, напротив.

И самым смешным показался ответ одного молодого бухгалтера - маленький тихий человек этот бухгалтер, мухи не обидит, как и звания нет.

Аверьянов сказал:

- Впредь до выяснения вашего недоразумения я хотел бы с окончательным ответом подождать.

Тут уж пошел Петр Алексеевич всурьез:

- Какая, мол, такая путаница, и быть не может никакой ошибки!

- Что-с?

- Ошибка, говорю... я без ошибки, я немец... где ошибка?

И поверил.

Поверишь!

Зверюга-то бешеный, видно, не так уж прост, не так легко поддается, по вздыбившейся бешеной шерстке его не очень-то ловко погладишь, прочь руки: зверюга палец прокусит!

Так, что ли?

Или тут и зверь ни при чем, и все проклятие вовсе не в том, что человек человеку зверь да еще и бешеный, а в том, что человек человеку бревно. И сколько ни молись ему, не услышит, сколько ни кличь, не отзовется, лоб себе простукаешь, лбом перед ним стучавши, не пошевелишь-нется: как поставили, так и будет стоять, пока не свалится либо ты не свалишься.

Так, что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина, и в первый раз отчетливо подумалось и ясно сказалось:

человек человеку бревно.

Ткнулся туда, постучался сюда,- все закрыто, все заперто: не принимают. А и примут - говорить не хотят, не дают слова сказать.

Потом перед носом двери захлопывать стали: и - некогда! и отстань, пожалуйста! и - не до тебя совсем! и других дел по горло! и - чего раньше глядел! и - на себя пеняй! и опять - некогда! и - отстань, пожалуйста!

И уж прислуга через цепочку не разговаривает: и не велено и надоел всем очень.

Не стало Маракулину пристанища, остался он, как в степи один, а лежала степь выжженная, черная, необозримая - чужая. Смотри кругом на все четыре стороны, ну!

Был он во всем, стал ни в чем.

А ведь все из-за пустяков - одна слепая случайность.

Ходили слухи, будто все дело Александр Иванович подстроил, его рук: подчислил Глотов приятеля своего, а сам из воды сух вышел.

А с другой стороны, все знали, что и Маракулин не прочь был по доброте ли своей душевной или еще по какому качеству, по излишней ли доверчивости своей и воображению любил ведь ладить с людьми! - да, сам он не прочь был временно, конечно, талон выдать и лицу, совсем не причастному ни к какому получению, ну ввиду каких-нибудь просьб особенных и стесненности приятеля, хоть бы тому же Александру Ивановичу!

Ведь с Маракулиным что угодно можно было сделать! Но сам-то он, слепую случайностью выбитый из колеи, без дела, один, ночи и дни думая, про себя думая, теперь ведь не то уж время - то время прошло - теперь и он, как настоящие люди, думать стал, сам-то он на первых порах твердо решил и суд себе вынес.

Виновным себя не признал и в воровстве себя не обвинил. А доказывая право свое на существование, в горячке своей, в мыслях своих хватал, как и в схеме и в веселье своем, по-маракулински: ухватился за это бревно, до которого додумался, что человек человеку бревно, и пошел вывертывать.

Хотел он, непременно, во что бы то ни стало, знать, кому все это понадобилось и для чего, для удовольствия какого бревна брёвна стоять поставлены, а хотел знать для того, чтобы определенно сказать себе, еще стоять ли ему бревном, как вздумалось кому-то поставить

его, или, не дожидаясь минуты, когда опять вздумается кому-то свалить его, самому по своей доброй воле и никого не спрашиваясь, чебурахнуться?

Ответить же на это, сами посудите, сразу так не ответишь, да и кому ответить, не хироман-ту же с Кузнечного, который брюки украл, а по руке по чертам руки на другого доказал, на соседа по углам, тоже с Кузнечного! Да, видно, без того уж нельзя, чтобы сердце не изнести - сердце не сорвать, видно уж всегда так, когда примется кто свое право доказывать на существование.

А ведь дело-то совсем не в том, что человек человеку бешеный зверь, и не в том, что человек человеку бревно, дело прошлое.

Навалится беда, терпи, потому терпи, что все равно - будешь отбрыкиваться или кусаться начнешь - все попусту она тебя не отпустит, пока срок ей не кончится. Так, что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказало: терпи!

Прогулял он лето без дела. Все, что собралось у него за пять петербургских талонных лет, все ушло по ломбардам либо в Столичный, либо в Городской на Владимирский. И скоро ничего не осталось, и ломбардные квитанции спустил к часовщику на Гороховой, а что осталось, все изношено, изорвано, и татарин не берет. Ободрался и пообдергался, линолевый единственный воротничок до нитки измыл, только крест цел на шее да поясок боголюбский, которым, впрочем, давным-давно не опоясывался, на стенке, как память, держал. И стыд какой-то почувствовал, раньше ничего подобного не испытывал. Просить уж не смеет. Хорошо, что просить-то некого: как от холерного, разбежались приятели, все попрятались.

И страшно ему как-то всех стало, и знакомого и незнакомого.

Стыдно и страшно по улицам ходить: все будто что-то знают про него, и такое, в чем и самому себе, кажется, духу не хватит признаться, не только что на людях сказать. Толкают прохожие. Собака и та ворчит, хватает за ногу.

Погибший он человек.

Ну, погибший, бесправный - и терпи, терпи и забудь...

Навалится беда, забудь, что на свете люди есть, люди не помогут, а если и захотят помочь, все равно, беда дела их расстроит, всякое дело их на нет сведет, разгонит и запугает, и потому о людях забудь.

Так, что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказало:

забудь!

А люди-то вскоре нашлись, явились, да не какой-нибудь Аверьянов и не его помощник Чекуров - бич пошлости, как сам себя величал этот честнейший Чекуров, нет, все такие, о которых Маракулина ни разу не вспомнилось: мелкие подозрительные служащие, переизгнанные из всевозможных учреждений и кочующие по всяким местам - кандидаты на выгон, погибшие и погибающие, ошельмованные и претерпевшие, которых в порядочные дома не пускали и подавать руку которым считалось неприличным и невозможным, которые, наконец, имели определенную кличку - свое имя и прозвище воров, подлецов, негодяев - жуликов.

И вот все эти вору, подлецы и негодяи - жулики знакомые, полужанкомые и вовсе

неизвестные - явились к Маракулину сочувствие свое выразить, они же тогда на первых порах и работу ему достали, ну не особенно важную, а так кое-какую, чтобы только хоть как-нибудь прожить.

У Маракулина была своя квартира на Фонтанке у Обухова моста, маленькая, а все-таки своя, пришлось бросить квартиру, перебраться в комнаты, нашлась комната по той же лестнице тремя этажами выше.

Вообще-то жизнь у Маракулина сложилась и удачно, но путано и нескладно, жил он и не бог знает как, но все это было до насиженного местечка, на первых порах жизни, когда ничего такого не замечается.

И теперь трудно показалось ему, тяжело было стесниться, тем более трудно и тяжело, что на поправку не было надежды, а жуликовым заработком зарабатывалось неважно, едва хватало, чтобы только хоть как-нибудь прожить.

А для чего прожить?

И для чего терпеть, для чего забыть - забыть и терпеть?

Хотел он непременно, во что бы то ни стало знать, кому это все понадобилось и для чего, для удовольствия какого вора, подлеца и негодяя жулика, а хотел знать для того, чтобы определенно сказать себе, еще стоит ли всю канитель тянуть-терпеть, чтобы только хоть как-нибудь прожить?

Ответить же на это, сами посудите, сразу так не ответишь, да и кому ответить, не хироман-ту же с Кузнечного, который брюки украл, а по руке по чертам руки на другого доказал, на соседа по углам, тоже с Кузнечного!

Да, видно, без того уж нельзя, чтобы сердце не изнести - сердца не сорвать, видно, уж всегда так, когда примется кто свое право доказывать на существование.

А ведь дело-то совсем не в том, чтобы терпеть, и не в том, чтобы забыть, дело проще:

не думай!

Так, что ли?

Так, в этом роде что-то промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось:

не думай!

Не думать ему... теперь?

Да, именно теперь, слепую случайностью выбитый из колеи, один, без дела, он впервые и думать стал,- то время прошло, когда не думалось, то время не вернешь.

И замкнулся в нем круг: знал он, что попусту думать, не надо думать, ничего не докажешь, и не мог не думать - не мог не доказывать - до боли думалось, мысли шли безостановочно, как в бреду.

С квартирой Маракулин разделался удачно, никуда его в участок не таскали и описывать не описывали - ничего не было, а душу не вынешь.

Только Михаил Павлович руку не подал,- старший Михаил Павлович, если уважал жильца средней руки, всегда руку ему подавал.

Последний день на старом пепелище выдался для Маракулина памятный.

Утром на дворе случилось несчастье: убила кошка - белая гладкая кошка с седыми усами. Может, она и не убила, и ни с какой крыши пятого этажа падать не думала, а что-нибудь проглотила случайно: гвоздь или стекло, а то и нарочно, шутки ради, осколком или гвоздиком покормил ее какой-нибудь любитель, есть такие. Мучилась она, и трудно ей было: то на спину повалится и катается по камням, то перевернется на брюхо, передние лапки вытянет, задерет мордочку, словно заглядывая в окна, и мяучит.

Обступили кошку ребяташки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом на корточках присели, притихли, не оторвутся от кошки, а она мяучит.

Персианин-массажист из бань, черный, тоже около примостился, кружит белками, а она мяучит.

Какой-то дымчатый кот выскочил из каретного сарая, ходко шел по двору через доски по щепню прямо на кошку, но шагах в трех вдруг остановился, оцетинился да с надутым хвостом в сторону.

Схватила одна девочка, за молоком сбегала, принесла черепушку, поставила под нос кошке, а она и не глядит, все мяучит.

- Кошка с ума сошла! - сказал кто-то взрослый: тоже, должно быть, как и Маракулин, из окна наблюдавший за кошкой.

- Это наша кошка Мурка! - поправила девочка, которая за молоком бегала, личико ее горело, а в голосе прозвучала и обида и нетерпение.

И все, казалось, ждали одного: когда конец будет.

Маракулин не отходил от окна, не мог оторваться, тоже ждал: когда конец будет.

И простоял бы так, не пошевельнулся, хоть до вечера, если бы не почувствовал, что сзади, за его спиной, стоит кто-то, переминается: дверей он давно уж не запирает, вот и вошел кто-нибудь!

Да так и есть: старик какой-то стоял перед ним, переминался, всклокоченный старик, длинный, из-под пальто штаны болтаются на ногах, будто не ноги, одни костяшки у старика, в руках шапку тербит и еще что-то... конверт, да, конверт какой-то.

Он такого старика никогда не видел, конечно! - но что ему надо?

- Что вам угодно?

- К вашей милости, Петр Алексеевич, я от Александра Ивановича.

- От Александра Ивановича!

- От них самих, двери забыли-с запереть, а я тут как тут, а позвонить побоялся, извини-те.- Старик шевелил губами, тербил шапку.

В прежнее время не раз от Глотова приходили всякие люди, - в конторе для вечерних занятий народ надобился, - но как вздумалось Гловову теперь послать к нему человека, ведь Гловов же знает, что он без места, и вот один пяточок у него в кармане!

- Сделать для вас я ничего не могу, вам ведь денег надо...

Старик засуетился, вытащил из конверта измятую четвертушку, исписанную неровно и крупно.

- Я вашей милости прошение написал, стыдно просить, так я прошение написал! - Старик тыкал четвертушкой и все улыбался, и такую улыбкой, словно в губах его где-то эта кошка мяукала, Мурка.

И сунув старику последний свой пяточок, Маракулин присел к столу и ждал одного, когда уйдет старик, когда конец будет.

Старик не уходил, сжимая в кулаке пяточок и шапку, а в другом конверт и измятую четвертушку, исписанную неровно и крупно.

Руки тряслись, и вот шапка не удержалась, упала на пол.

- Что ж Александр Иванович, как Александр Иванович, как поживает? спросил Маракулин, чувствуя, как внутри его трясется все и уж не выдержит он, крикнет, выгонит вон старика.

Старик по-птичьи длинно вытянул шею и клювом разинул рот.

- Нынче в самом разу-с,- словно обрадовался старик, затряс головою, уж одеты-то очень хорошо, как старший дворник, поддевка и сапоги лаковые, как старший дворник. "Иди, Гвоздев, прямо к Петру Алексеевичу на Фонтанку!" Так и сказал. Как старший дворник! В Царском у них был на даче, шутит все, влюблен, говорит, в мадам влюбились. Шутит все: "Голодного, говорит, накормить можно, бедного обогатить можно, а коль скоро ты влюблен и предмет твой тебе не взаимодействует, тут хоть тресни, нет помощи". Ничего не понимаю-с, шутит все. Пальто с своего плеча подарили, а это Аверьянов бухгалтер - ихние-с, широки немножко. "Ты, говорит, Гвоздев, соблюдаешь?" "Извините, говорю, Александр Иванович, я до женщин охотник". Шутит все.

Без умолку, путано говорил старик, но сесть не сел, и кулак не разжал, и шапку не поднял.

Беспокойный старик, такой уж он беспокойный, служил он у Шаховских в конюхах в Петер-бурге, должность хорошая, да лошадь взбесилась, ударила его в грудь, он и пошел в монастырь.

С тех пор по монастырям: из монастыря в монастырь переходит - такой склад беспокойный - где начнет привыкать, сейчас же оттуда сбежит.

С месяц назад из Черемнецкого сбежал.

- Призрел меня человек один знакомый, пустил к себе в комнату. На Зелениной комнату снимает, так, небольшая комнатка. Семейный сам, Корякин, жена, ребенок маленький,- девочка, призрел: все вчетвером жили. А на Ольгин день старшая их дочка в Питер гостить приехала, тесновато и неловко: девица. Перебрался я на Обводный, угол снял - полтора рубля с огурца-ми, хороший угол в проходе. Я, Петр Алексеевич, торговлишкой занялся бы, чтобы только хоть как-нибудь прожить.

Без умолку, путано говорил старик, сливались и шипели слова, беспокойный старик.

А у Маракулина глаза застилало, веки тяжелели, ничего уж не видел, только болтались перед глазами штаны старика, широкие Аверьяновы, и не на ногах, а на костяшках.

- Я до женщин охотник... полтора рубля с огурцами, только чтобы хоть как-нибудь прожить.

Маракулин вскочил со стула:

- Да для чего, скажите, наконец,- крикнул он,- для чего прожить?

Но он один был в комнате и больше никого.

Кошка мяукала, Мурка мяукала.

Он один был в комнате, он заснул под разговор, старик догадался и с пяточком, с его последним пяточком, крадучись, незаметно вышел, как и вошел незаметно.

И шапка на полу не валялась.

Кошка мяукала, Мурка мяукала.

И вдруг Маракулину ясно подумалось, как никогда еще так ясно не думалось, что Мурка всегда мяукала и не вчера, а все пять лет тут на Фонтанке, на Бурковом дворе, и только он не замечал, и не только тут на Бурковом дворе - на Фонтанке, на Невском мяукала и в Москве, в Таганке - у Воскресения в Таганке, где он родился и вырос, везде, где только есть живая душа.

И как ясно подумалось, как твердо сказалось, что уж от этого мяуканья, от Мурки никуда ему не скрыться.

И как твердо сказалось, как глубоко почувствовалось, что не на дворе там мяукает Мурка, а вот где...

- Воздуху дайте! - мяукала Мурка, как бы выговаривала: воздуху дайте! и каталась по камням, глядя вверх к окнам.

Тесно, еще теснее кругом ее сидели на корточках ребяташки, забыли свои дикие игры и дикие работы, притихли, насторожились, и тут же черепушка с молоком нетронутая стояла, и персианин-массажист из бань, черный, не уходил прочь, кружил белками.

Только к вечеру поздно перебрался Маракулин в свою новую комнату на пятый этаж, где была раньше прачечная.

В квартире, кроме кухарки Акумовны, никого не было, хозяйка Адония Ивойловна еще не вернулась - Адония Ивойловна летом на богомолье уезжала, оставляя квартиру на Акумовну, другие две комнаты стояли без жильцов.

В первую ночь на новоселье приснился Маракулину сон, будто сидит он за столиком в каком-то загородном саду против эстрады - Аквариум напоминает сад, а вокруг все люди незнакомые: лица злые и беспокойные, и все ходят, поуркивают, все шушукуются, на его счет поуркивают и недоброе у них на уме, ой, недоброе! Стал его страх разбирать, а их все больше подходит, и теснее круг замыкается, и уж перестали шушукаться, а так глазами друг другу показывают, понимают друг друга, на него показывают. И уж никакого сомнения: ему дольше тут нельзя оставаться - убьют. Он встал да незаметно к выходу, а они уж за ним: так и есть - убьют они. Убьют они его, задушат они его, куда ему деваться, куда скрыться? Господи, если бы был хоть один человек, хоть бы один человек! А они - по пятам, близко, вот-вот нагонят. Он - в грот, упал ничком на камни. И вдруг, как камень, села ему на спину птица, не орел, коршун, который кур носит, зажал крепко когтями, задрал за спину, всего зажимает, как кур ломит. "Вор, вор, вор!" - стучит клювом. И тяжело-тяжело стало, удрило сердце, оборвалось, опустились руки, и уж никакого сомнения: ему никогда не подняться, не стать на ноги,- и тяжело, и горечь, и тоска смертельная.

- Нехороший сон,- сказала Акумовна, когда наутро Маракулин рассказал Акумовне о ночных людях и птице-коршуне,- видеть его перед болезнью, обязательно заболеете.

А уж хвороба-болезнь привязалась, его ломало всего, размогался он, и голову клонит, он уж болен был: поутру стакан чаю едва допил и кусок нейдет в горло.

Стояли петровские жары, а его трясло, как в крещенский мороз.

Акумовна божественная, так по Буркову двору величали Акумовну божественной, добрая душа, уложила Маракулина в постель, и малиной поила, и горчичники ставила, дни и ночи ходила за ним и выходила.

Отвязалась хвороба-болезнь, отошла от него.

И все-таки недельки две провалялся.

Первое, что он почувствовал,- когда после болезни переступил за порог дома и очутился на улице,- он теперь все видеть как-то стал и все слышал.

И еще он почувствовал, что и сердце его раскрывается и душа живет.

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем:

видеть, слышать и чувствовать!

Так сказало у Маракулина в его первый же день после болезни, так нашел он себе лазейку опять на свет выбраться, так доказал он свое право на существование:

только видеть, только слышать, только чувствовать!

Людей он не боялся, не страшны они ему. И стало ему как-то совсем не важно: вор он или не вор. И беды никакой не боялся.

И если бы, думалось ему, упало на него бед в тысячу раз больше, он ко всему готов, он на все согласен, все примет и все претерпит, и жить будет в каком угодно позоре и в каком угодно унижении, все видя, все слыша, все чувствуя, а для чего, сам не знает, только будет жить.

Наперекор ли беде - лиху одноглазому, а ему, одноглазому, где тужат и плачут, тут ему и праздник, изморил он беду свою, пустил ее голодную по земле гулять, и одноглазый своим налившимся оком косо посматривает из-за облаков с высоты надзвездной, как в горе, в кручине, в нужде, в печали, в скорби, в злобе и ненависти земля кувырывается и мяучит Муркой, а может, терпит до времени... нет, он любит:

- В чем застану, сужу тебя!

Или назло горю-беде, тощей, жидкой, пережимистой, лыком подпоясанной, мочалом при-опутанной, всклокоченной, как старик Гвоздев, назло насмешкам ее, назло слезам ее притвор-ным, когда, в яму столкнув, заплачет.

- Се человек!

Или постиг он в Муркином мяуканье, в обреченности Мурки мяукать, какую-то высшую справедливость, кару за какой-то Муркин изначальный грех, неискупленный и незаглаженный и, может, пустяковский, да сказано:

- Кто весь закон соблюдает, но в одном согрешит, во всем виновен!

И, найдя право свое в первородном бесправии, покорился в страхе и трепете.

Или любовь его к жизни, чутье его к жизни - веселость духа - основа и стержень его жизни

оправдали его, подсказали уменье найтись, приладиться и приноровиться и без всяких слов и без всяких доказательств, как свойства души его?

Или он просто будет жить и не наперекор и не назло, и не от разума и не благодаря своему душевному, а так просто - не для чего, как не для чего перед праздником директору отчет переписывал, дни и ночи упорно выводя букву за буквой, нанизывал буквы, как бисер?

Так, что ли?

Так, в этом роде промелькнуло тогда у Маракулина и ясно сказалось:

Не для чего,- не для чего, а будет, жить! - только видеть, только слышать, только чувствовать.

Глава вторая

Бурков дом ни в какую стену не упирается.

Против - Обуховская больница. Между домом и больницей два двора: Бурков двор и Бельгийского общества. Завод Бельгийского общества по правую руку - четыре кирпичных трубы с дымоотводами коптят целый день, и оттого между рам черная копоть. На эту копоть Акумовна, убирая перед праздником комнаты, всегда сетует, только винит почему-то не кирпичные бельгийские трубы, а огромный молочный электрический фонарь, который освещает бельгийский двор.

Луна в окно заглядывает, а солнце никогда не видно, и только летом комната Маракулина пышет, как жаркая сковородка: лучи ложатся вместе с пылью и с тем надоедливym стуком железа о камень, каким стучит подновляющийся и подстраивающийся Петербург летом.

И звезд тоже немного, глядит всего одна звезда вечерняя и то по весне в глухую не темную полночь, зато огонек в Обуховской больнице всегда, как звезда.

Когда на дворе Бельгийского общества появляются черные люди и, ровно каторжники, один за другим везут с Фонтанки черные тачки с каменным углем, и день за днем двор вырастает в черную гору, это значит - лето прошло, зима наступает - осень.

Когда же гора начинает убывать и тая, как снег, расползается, и снова появляются с черными тачками черные люди, и в звонких тачках развозят куда-то последние черные куски, и на дворе, усыпанном седым песком, поднимаются белые палатки, и в серых больничных халатах бродят стриженные землистые люди да мелькает красный крест белых сестер, это значит - зима прошла, лето наступает - весна.

"Бурков дом - весь Петербург!"

Так любили говорить на Бурковом дворе.

Парадный конец дома в переулок к казармам - квартиры богатые.

Там живет сам хозяин Бурков - бывший губернатор: от его мундира, как от электричества, видно, а прихожая его в погонах и поговихах.

Этажом выше - присяжный поверенный Амстердамский, две квартиры занимает.

Еще выше - Ошурковы муж с женою - десять комнат, все десять разными мелкими вещицами поизнаставлены и аквариум с рыбками, прислуга то и дело меняется.

Сосед Ошурковых - немец, доктор медицины Виттенштаубе, лечит от всех болезней рентгеновскими лучами.

Над Ошурковыми и Виттенштаубе генеральша Холмогорова, или вошь, как величали генеральшу по двору.

Над генеральшей никто не живет, а под самим Бурковым контора и на углу булочная.

Самого Буркова никто не видал, и только ходили слухи о каком-то его самоистреблении, будто, губернаторствуя где-то в Пурховце и истребляя крамолу, так развернулся, что подписал в числе прочих бумаг донесение в министерство о своей полной непригодности, и благополучно, но совершенно неожиданно для себя отозван был в Петербург, где и получил отставку.

Холмогорову генеральшу, напротив, всякий видел и все очень хорошо знали, что процентов одних ей до ее смерти хватит, а проживет она еще с полсотни - крепкая и живая, всех пережи-вет или, по словам хироманта, конца жизни ей не видно, и знали также про генеральшу, что ходит она по вторникам в баню париться и так закалилась, что и не стареет, а все в одном поло-жении, и еще знали, и бог весть откуда, что на духу ей будто совсем не в чем и каяться: не убила и не украла и не убьет и не украдет, потому что только питается - пьет и ест,- переваривает и закаляется, и, наконец, знали, что выходит она из дому не иначе, как со складным стульчиком, а берет она его на случай, если нападут, и так со стульчиком можно ее ежедневно встретить прогуливающуюся по Фонтанке для моциона, а по субботам и в воскресенье, под праздники и в праздники на Загородном в церкви и из церкви.

Всякий день в полдень по пушке на дворе появляется бурковская горничная Сусанна, похо-жая больше на какую-нибудь барышню департаментскую машинистку, чем на горничную, водит по двору красивую губернаторскую собаку - рыжего пса Ревизора, едва сдерживая стальную докучливую цепь.

По середам во двор выносятся ковры, а перед праздниками мягкая мебель, и полотеры вытряхивают и выбивают так усердно и с таким громом, что иной раз кажется, на Неве из пушек палят: не то покушение, не то наводнение. И все эти ковры и мебель с парадного конца - из богатых квартир: от Буркова, Амстердамского, Ошурковых, от Виттенштаубе и Холмогоровой генеральши.

Черный конец дома - квартиры маленькие и жильцы средние, а больше мелкие.

Тут и сапожник, и портной, пекаря, банщики, парикмахеры, прачечная, две белошвейных, три портнихи, сиделка из Обуховской, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, приказчики, водопроводчики, наборщики и разные механики, техники и мастера электрические с семьями, с тряпками, с пузырьками, с банками и тараканами, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования.

Тут же и углы.

Содержатель углов торговец Горбачев - молчок, такая кличка ему по двору, коренастый, осадистый, с сединой старик, богомольный, окуривающий ладаном по субботам все свои тридцать углов, на Марсовом поле три ларя имеет.

В праздники у Горбачева толкнутся девицы в черных платочках и монашки-сборщицы в сапогах, а на Пасху все эти дщери песнопения и весело и задорно отхватывают ему Христос воскрес.

Горбачева все знают и не очень долюбивают, а Горбачев детей терпеть не может.

Генеральша Холмогорова, как говорят, тоже детей терпеть не может, да у ней своих нико-гда не было, а у Горбачева была девочка, и он ее в пустом крысином чулане держал и пальцы ей выламывал, пока на тот свет не отправил.

Ребятишки дразнят Горбачева, прозвища дают ему всякие, дикими стаями ходят за ним, над ладаном его посмеиваются и над носом, заросшим конским волосом, и оттого по двору рассыпа-ется крепкое слово и летучее - такая отборная, крепкая русская речь, какую в остроге редко услышишь, а острог ей академия.

- Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко, я всех вас, шельмецов, перевешаю на веревочке! - ворчит обиженный, изведенный ребятишками старик-молчок и потягивает своим в конском волосе горбачевским носом, окуривая ладаном по субботам все свои тридцать углов и злобно и горько перемешивая божественное с непотребным.

Горбачевские углы известные.

Тут и старуха, торгующая у бань подсолнухами, семечками, цареградским стручком, леденцами в бахроме с розовой бумажкой, и селедкой, и мочеными дулями, и кухарки без места, и так разные люди, вроде беспокойного старика Гвоздева, и маляр, и столяр, и сбитенщик, тут и разносчики.

Шкапчики разносчиков - ларьки - над дровяными подвалами от помойки с одной сторо-ны, а с другой - от мусорной ямы.

Ранним утром, когда дворники прибирают и метут двор, кипит у разносчиков на лотках работа: яблоки, апельсины, шептала, чернослив, финики и другие сласти и лакомства, все это бережно и заманчиво раскладывается и перекладывается, подсвежается и подновляется и затем развозится на Фонтанку, и уж такое соблазнительное, такое вкусное, кажется, нет сил удержа-ться и не купить к чаю, ну хоть финик либо плиточку постного сахару, пахнущего поганками.

И как горбачевские углы никогда не пустуют, так и разносчицьи шкапчики-ларьки всегда полны соблазнительных сластей и лакомств.

Около углов дворницкая. Семь дворников. Все на вид такие здоровые и все больны чем-нибудь таким, ну хоть бы на смех один попался! И дело дворницкое - дело не легкое, и дежурь, и дрова носи, и в часть таскай, все прямо с топора делай. Одна выгода - дрова. Только парад-ный конец дома на хозяйских, черные же - мелкота на своих, свои дрова покупает, и бурков-ские дворники, все семь, как один, дровами промышляют.

Над дворницкой - старший Михаил Павлович, по благообразию своему подходящ больше к Невской лавре - быть бы ему в лавре не из последних, праздничных меньше рубля не берет.

Над Михаилом Павловичем - паспортист Еркин и конторщик Станислав.

Еркин во всем Бурковом дворе по части выпивки первый, так все и знают. И на праздниках, взобравшись куда-нибудь на пятый этаж, нередко позвонит в квартиру, пролопочет, что за праз-дничным двугривенным явился, но тут и падет на пороге как мертвый, а то с лестницы катился тоже не то на Рождество, не то на Пасху, да так со ступеньки на ступеньку любит-нелюбит, пока весь не исполосовался о камни и узнать его отказались. После Нового года, на Богоявление, дворничиха Антонина Игнатъевна, жена Михаила Павловича, женщина богобоязненная, водила его к братцу в Гавань возвратить на путь истинный, и возвратился он на путь истинный: дал братцу зарок - расписку, что прекращает пить на год до нового года. Еркин больничными марками промышляет, и марки для него - все больше рублевые! что дрова для бурковского дворника.

Сожитель Еркина - Станислав конторщик, все равно как монтер Казимир, приятель Станислава, искони известны тем, что по ночам лазают по всем лестницам, и ни одна кухарка и никакая горничная, еще не было случая, чтобы устоять могла. И любой семеновец перед ними просто дрянь.

Свадьбы, покойники, случаи, происшествия, скандалы, драки, мордобой, караул и участок, и не то человек кричит, не то кошка мяучит, не то душат кого-то,- так всякий день.

"Бурков дом - сущая Вязьма!"

Так любили говорить на Бурковом дворе.

Квартира Адони Ивойловны Журавлевой, хозяйки Маракулина, на черном конце дома, номер семьдесят девять.

В семьдесят восьмом - акушерка Лебедева. У акушерки в Рождественский пост шубу зимнюю меховую украли, а вора не нашлось, как в печке сгорело. Винили швейцара Никанора, что недоглядел, а где Никанору углядеть: он и день на ногах и ночью звонки, так круглый год. Конечно, умный вор - свой, ничего не поделаешь.

В семьдесят седьмом - тоже соседняя квартира - одно время жили два студента - Шевелев и Хабаров. На вид из состоятельных, и одевались они богато, и деньги вперед за месяц заплатили. Жили замкнуто, никто к ним не приходил, никаких гостей не бывало, не бывало и шуму в их квартире, прислуги своей не держали. Обыкновенно с утра они уезжали и лишь поздним вечером возвращались домой: занимались они сбором денег в пользу своих бедных товарищей, как сами объясняли, когда обходили со сбором бурковские концы - и парадный и черный. И только одно было от них неудобство: часто по ночам и не громко, но все-таки слышно они пели, и почему-то пели они панихиду - "Со святыми упокой" - "Надгробное рыдание" - "Вечную память". И ночное похоронное пение приводило соседей если не в трепет, то, во всяком случае, в некоторое волнение. И что же? Через какой-нибудь месяц оказалось, что вовсе они и не студенты и по фамилии не Шевелев и Хабаров, а Шибанов и Коченков - воры самые настоящие, а квартира их, как нежилая,- пусто, хоть бы стул какой безногий,- ничего, один стеариновый огарок в пивной бутылке да какой-то медный кран, больше ничего. А нагрели они немало, их и арестовали.

На место студентов в семьдесят седьмом поселились артисты - два брата Дамаскины: Сергей Александрович из балета - экзамен на двенадцать языков сдал и все законы произошел, как говорили по двору, и Василий Александрович, клоун из цирка, или клон по-бурковски: огоньки пускает и ничего не боится, на летучем шаре летал! Артистами называл артистов старший Михаил Павлович, проникшийся к братьям Дамаскиным каким-то необыкновенным и совсем не понятным для себя уважением, как к какому-нибудь братцу из Гавани.

* * *

Василий Александрович клоун - тело у него, как чайная чашка. Сергей Александрович - тоненький и аккуратный, как барышня шестнадцати лет, ходит - земли не касается, и крутой, как трехлетний ребенок,- шибко идет, а туфельки у него, ровно без пяток, и всякий час гимна-стикою, как говорится, ногу проверяет: так затропочет ногами, как петух крыльями. Василий Александрович - только в своем цирке, и всякий вечер что-нибудь представляет, так полага-ется. Сергей Александрович и в театре танцует и уроки дает: и у себя и на дом ездит.

Зарабатывали артисты порядочно, но сыпали деньгами, как стружкой. Сергей Александрович в карты играл и всегда проигрывал. Из долгу не выходили и нередко случалось позарез.

И тот и другой не старше Маракулина. Сергей Александрович женат был, но жена от него ушла. И хотя он уверял ее, что любовь бывает один раз одна на свете любовь, и если он

ухаживает за своими ученицами, то такое уж у него занятие, и если разговаривает с какой-нибудь красавицей, то как с человеком с ней разговаривает, а сердца нет, все-таки жена ушла. Сергей Александрович чистоплотный. Василий Александрович - напротив: подавай ему всякий день барышню, без этого он жить не может, и ничем не брезгует, не боится, если даже и знает что, но зато, хоть и не часто, а ходит в церковь. Сергей же Александрович и в Пасху дома сидел. А когда однажды у Сергея Александровича заболели зубы и он решил, что помирает, то и не подумал священника попросить, нет, предупредил рабыню - так называли артисты свою кухарку Кузьмовну - и даже очень грозно:

- Приведешь попа,- сказал он в зубном остервенении,- я его, стервеца, с лестницы спущу!

И спустил бы:

Сергей Александрович большой философ!

Маракулин с акушеркой Лебедевой только раскланивался, не понравилась она ему: все как-то в карман смотрит и какая-то она припадающая и на два голоса разговаривает - у кого в кармане туго, с тем одним голосом, а у кого нет ничего - другим голосом. На поклон Маракулина акушерка Лебедева скоро прекратила отвечать, да и он ее как-то не замечал уж.

Со студентами Маракулин не был знаком и всего несколько раз столкнулся на лестнице: он подымался, а они вниз сбегали; по ночам он первый был слушатель их студенческого похоро-нного пения. С первого взгляда такие молодцы ему по душе пришлись: очень уж ловкие и жизнерадостные

А с артистами он подружился и бывал у них - заходил вечерком чаю попить.

Артисты - происхождения духовного, образования семинарского, и - оба как курица бритая, и оба размышь-горе, нос не повесят и без спички от папироски не закурят.

Василий Александрович - клоун не очень разговорчивый, но и в разговоре не помеха, добродушный, и смеялся, когда и не смешно, совсем по каким-то, должно быть, своим линиям, по клоунским.

Сергей Александрович поговорить любил. Он и книгочей, читал не только юмористические журнальчики с картинками, вроде петербургского "Сатирикона", не только знаменитого Андрея Тяжелоиспытанного, в его руках бывала не одна какая-нибудь "Эльза Гавронская, или Страшные тайны подземелья", не какие-нибудь "Страшные похождения атамана разбойников Черно-рука", "Любовные свидания Берицкого", "Похищение Людмилы лесным разбойником Алексан-дром" - любимое чтение клоуна, он читал и самую нашумевшую книгу, которую везде уви-дишь: и у Суворина, и у Вольфа, и у Митюрникова, на Невском, Гостином, на Литейном и даже на Гороховой, в единственном по Гороховой книжном магазине за окном стоит выставлена.

И за чаем на все гробокопательские доказательные рассуждения Маракулина Сергей Алек-сандрович отвечал обыкновенно пространными собственными рассуждениями о судьбах и судьбе всяких стран, народов и человека вообще, оканчивая, впрочем, кратко:

- Надо от всего отряхнуться! - и при этом так тропотал ногами, как петух крыльями.

Сергей Александрович - большой художник!

* * *

Хозяйка Маракулина Адония Ивойловна Журавлева - не молодая, полная и очень добрая, пятнадцать лет вдовее; пятнадцать лет, как голодною смертью помер от рака муж ее, на

Смоленском похоронен. Сама она не петербургская, муж петербургский, сама она поморка - беломорская. У мужа своя торговля была на Садовой, суровская лавка - миткаль и нитки, в аренду лавку сдавала. Детей у ней нет и только родственники по мужу, и у них детей нет, всего один племянник. Племянник приходит на праздниках - в Рождество и Пасху - с праздником ее поздравить да в именины и в рожденье с ангелом и рожденьем поздравить. Она богатая - денег много и некуда ей деньги девать и очень ее сокрушает, что детей нет, и, вздыхая, сетует она на predeterminedенную ей судьбой бездетную жизнь.

Занимает Адония Ивойловна крайнюю комнату: как войдешь, направо из прихожей ее комната. Целый день дома, на улицу не выходит: и тяжело ей с лестницы спускаться - нога подвертывается, и одышка берет обратно лезть, и боится трамваев.

И только одно развлечение в кухне,- в кухню к Акумовне прогуляться, о кушаньях поговорить.

Адония Ивойловна покушать любит.

Комнаты все подряд. Крайняя к кухне - Маракулина. И Петру Алексеевичу слышно, как по утрам заказывается обед.

Адония Ивойловна любит особенно рыбные кушанья. И с каким душой выворачивающим вкусом наставляет она Акумовну о стерлядях - ухе стерляжьей.

- Ты, Ульянушка,- говорит она Акумовне, говорит, словно бы слезы глотает,- ты наперво, Ульянушка, окуней вывари до изнеможения, а затем класть стерлядь, вкусная уха выйдет.

И правильно, вкусная варилась уха, душевыворачивающий стерляжий сладкий дух развари-вающейся жирной стерляди переполнял и кухню и все четыре комнаты, и едва уж сидит, еле дожидается Маракулин счастливейшего часа - блаженнейшей минуты идти в столовую на Забалканский.

Адония Ивойловна покушать умела.

Зиму сиднем сидит, усидчивая, по двору ее не иначе, как кузницею звали за эту усидчивость, но чуть весна - и уж нет ее в Петербурге: целое лето разъезжает с места на место по святым местам.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков.

Была она и у безумствующего старца под Кишиневом, страшные его рассказы слушала о Страшном суде и о муках над грешниками, и такие страшные - в неуме расходились богомо-льцы и беснованию предавались, а иные тут же на месте от страха адских мук помирали - такие страшные рассказы.

Была она и на Урале у Макария, на птичнике живет старец, за птицею ходит, с птицею разговаривает, и весь скот старцу повинуется: станет старец на закате солнца молиться и скот станет - повернет рогатые, бородатые головы да в ту же сторону, куда старец молится, и стоит, не переступнет, громком не гремнет и бубенцом не звякнет.

Была она и в Верхотурье у Федотушки Кабакова, молитвою вызывающего глас с небеси.

Была и у того самого старца, который старец прикоснется к тебе и прикосновением своим ангельскую чистоту сообщит - возведет в райское состояние.

Была и у китаевского пророка: свой язык дает старец сосать, высунет тебе, пососешь и освятишься - благодать получишь. И у многих других старцев побывала она на своем веку: и в Богодуховском - нечистых духов, соитием плоть умерщвляя, изгоняет старец, и у Босого - Ивановского старца, и у Дамиана старца, и у Фоки Скопинского, на огненном костре

сжегше-гося.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков. И век бы ей слушать непонятные их разговоры, и притчи их, и слова их, и молиться бы в их кельях, где лампы сами собою зажигаются, как свеча иерусалимская.

Но горе ее: не говорят они с нею, ей одной на особицу ничего не говорят. Или летами стара она, или уж от умиления слов пророческих не слышит, или не дано ей услышать?

И только одна сестрица Параша сказала:

- Корабли пойдут, много кораблей - далеко! И часто зимою, сидя на Фонтанке одна в своей душевной комнате, Адония Ивойловна повторяет:

- Корабли, корабли! - а уразуметь ничего не может, и слезы горохом катятся.

Сходство у Адонии Ивойловны с тюленем прямо поразительное - вылитый мурманский тюлень.

Любит Адония Ивойловна блаженных и юродивых, старцев и братцев и пророков, и есть у ней еще страсть такая непреоборимая: море - любит она море.

Все русские моря она объездила и на Мурмане по Ледовитому океану плавала, где кит живет, и, наконец, видела Средиземное море.

И часто зимою, сидя на Фонтанке одна в своей душевной комнате, вспоминает она и Белое - свою родину, и Черное - теплое, и изумрудное море Средиземное, а вспоминая море, повторяет пророческие Парашины единственные слова:

- Корабли, корабли! - а уразуметь ничего не может, и слезы горохом катятся.

По ночам Адонию Ивойловну сны одолевают. Пестрые снятся ей сны.

Ей снятся ее родина, родные реки - Онега-река, Двина-река, Пинега-река, Мезень-река, Печора-река и тяжелая парча старорусских нарядов, белый жемчуг и розовый лапландский, киты, тюлени, лопари, самоеды, сказки и старины, долгие зимние ночи и полуночное солнце, Соловки и хороводы.

Ей снятся холмогорские комолые коровы, целое стадо, и глаза у коров человечьи, и они будто ласться к ней спинами, а потом выходит корова, подает ногу, как руку, говорит:

"Адония Ивойловна, учи меня говорить!"

А за нею другая выходит, и так за коровой корова, и каждая ногу подает, как руку, и все об одном просят:

"Адония Ивойловна, учи меня говорить!"

Ей снятся скорпии-хамелеоны и все будто во фраках, по стенам расселись, извивают хвост, то изумрудный, то багряный, как студеный закат, и только смотрят на нее, и уж вся стена в скорпиях-хамелеонах, везде они, и на иконах и за иконами, и один хвост, как тысяча малых хвостов, машет ей, манит то изумрудный, то багряный, как студеный закат.

А то глупость приснится: будто ест она ватрушку и, сколько ни ест, все не сыта, и ватрушка не убывает.

Всякий день Акумовна сны толкует, а по вечерам за чаем на картах гадает. Акумовна может гадать и на вербе и на каретных свечах, а в зимнее время по узору на стекле - на цветах

мороз-ных, но всего вернее она на картах гадает.

Осенний вечер. На дворе петербургский дождик. Из желобов глухо с собачьим воем, стучит вода по камням. Бельгийский электрический фонарь сквозь туманы и дым, колеблясь, светит, как луна. В окне Обуховской больницы один огонек.

В крайней комнате - в душевой комнате у Адонии Ивойловны поет самовар не выживает, он полон и горяч, пар выбивается, певун, заиграл игрою. Поет самовар на все комнаты.

Акумовны нет в кухне, Акумовна с картами у Адонии Ивойловны, Акумовна гадает. Самовар гаснет, и пение его тише, и голос Акумовны глуше:

- Для дома.
- Для сердца.
- Что будет.
- Чем кончится.
- Чем успокоится.
- Чем удивит.
- Всю правду скажите со всем сердцем чистым.
- Что будет, то и сбудется.

А карта, должно быть, выходит нечистая, все неважная, все темная.

Плачет Адония Ивойловна. Да и как ей не плакать? Похоронили мужа ее на Смоленском кладбище, а она хотела положить его в Невской лавре: родственники настояли, не послушали ее. Он ко всем добрый был, помогал много, а они его не любили. Она одна любила его, и ее не послушали. А на кладбище земля под ним уходит, обваливается земля.

И опять голос Акумовны, но еще глуше:

- Для дома.
- Для сердца.
- Что будет.
- Чем кончится.
- Чем успокоится.
- Чем удивит
- Всю правду скажите со всем сердцем чистым.
- Что будет, то и сбудется.

А карта все та же. И те же слезы. Плачет Адония Ивойловна: она одна любила, и ее не послушали, уходит земля под ним, обваливается земля.

- Обвиноватить никого нельзя! - говорит вдруг Акумовна.

Осенний вечер. На дворе петербургский дождик. Из желобов глухо с собачьим воем стучит

вода по камням. Бельгийский электрический фонарь сквозь туманы и дым, колеблясь, светит, как луна. В окне Обуховской больницы один огонек.

В крайней комнате - в душевой комнате у Адонии Ивойловны три неугасимые лампадки Адония Ивойловна долго молится.

И в кухне - в насыщенной живучим стерляжьим духом и сушеным грибом кухне у Акумовны три неугасимые лампадки.

Акумовна долго молится.

- Корабли, корабли! - доносится ночью голос сквозь слезливый храп.

А ему отвечает другой с другого конца голос:

- Обвиноватить никого нельзя!

И третий слышится, третий идет через стенку от артистов:

- Надо от всего отряхнуться.

И ежится, сжимается весь притихнувший, насторожившийся невеселый Маракулин и твердит себе все одно и то же и напрасно: непокорливый, он больше не может не думать, он больше не может не слышать своих мыслей, и всякий мир далек от него.

* * *

Божественная Акумовна - по паспорту тридцати двух лет, девица, но по собственным уверениям ее, хотя и без всяких уверений ясно, ей не тридцать два, а верных пятьдесят. Она псковская, или псковитянка, как величают ее артисты, к которым частенько она забегает на картах погадать, а Сергею Александровичу готова хоть и целый день гадать, да и рабыня Кузьмовна, напоминающая не то флюндру какую, не то мороженую курицу с Сенной, вроде кумы ей.

Акумовна маленькая, черненькая, лицо очень смуглое - жук, а улыбается и поглядывает как-то по-юродивому не прямо, а из стороны, голову немножко набок, и кроткая - никогда ни на кого не осердится. И быстрая, но не столько бегаёт, сколько на месте топчется, и только кажется, что она бегаёт. И проворная, так вот сейчас и все сделает, а случится послать да чтобы поскорее, знай, пропало дело, не дожدهшься! Пятый этаж, ноги старые, сбежать-то на улицу сбежит, а на лестницу подняться - оступается. Нога и готова бежать, рада бы Акумовна поскорее, а сил уже нет, и только топчется.

И днем и ночью живет Акумовна, как живет и Адония Ивойловна.

Разные ей снятся сны: и пожары она видит - дом горит, и разбойников бежат, гонят разбойники, и голого человека - на берегу голый с мылом моется, и рябого гада - кусает ее гад, и ягоду - во сне она ест бруснику, большие гроздья с овечий хвост.

Но чаще, очень часто она летает: она летит и всегда в одно и то же место - к Осташкову в Нилову пустынь к Нилу Преподобному Столбенскому.

- Скоконешь и летишь,- говорила Акумовна,- подымусь и, как на воде, руками захваты-ваю, и так мне легко все станет, и все лечу вперед, как птица.

Давно обещалась Акумовна в Нилову пустынь, к Нилу Преподобному сходить, и не исполнила обещания, не была ни разу, вот почему часто, очень часто летает она по ночам к Осташкову.

По двору любят Акумовну: божественная Акумовна! И всегда на кухне у ней детвора толчется, она и умеет и любит играть-киликать с детьми. Она везде бывает, есть у ней деньги - дает и берут без отдачи, во всех углах ей рады. И одного боится она, когда на дворе дерутся.

Сергей Александрович Дамаскин все законы произошел - артист. Акумовна - такой человек, что знает, что и на том свете деется. Так идет молва по Буркову двору.

Акумовна на том свете была,- на том свете ходила она по мукам.

Там, на том свете, ей все показывали, только не знает она, кто, который человек водил ее.

- Пришла я,- так рассказывала Акумовна свое хождение по мукам,- в какую-то постро-йку в хоромину: выбранный пол гнилой, мостовины провалились, земля - мусор, и лежит на полу рыба протухлая, гадкая, разная, мясо, черепы, нехорошее все, худое лежит, и люди умер-шие - одни кости лежат, члены человечьи и животные умершие лежат, все гнило, все гадость.

И водили ее по хоромине, все ей показывали! А хоромина длинная - конца не видно и широкая, а тесно. Впереди люди, много людей, и позади люди, тоже много, и кругом везде и идут и стоят. А какие-то все по углам и не люди,это она понимает,- их тоже много.

- Мучилась я, молитву читаю, а они не отпускают,- хвост и ноги коровьи, когти собачьи. "Выпусти меня!" - взмолилась я. Один и говорит: "Нет еще, пусть она посмотрит". А другой за ним: "Надо обождать, пускай видит все". И повели меня.

И водили ее по хоромине, все ей показывали. Нехорошее все, гнилое лежит, одна падаль, все гнило, все гадость, и умершие люди и умершие животные, кости, черепы, мусор.

- Хоть бы бог дал святых тайн принять! - думаю себе,- выйду я из этого блуду. И все поминаю: "Господи, господи, хоть бы мне причаститься, замучилась я!" И вижу, уж вышли мы из хоромины.

И повели ее на гору, а на горе три лица, трое стоят: все в светлых мантии и светлым лица покрыты, причащаются. Только вместо сосуда полоскательная чашка и ложечки нет, так причащаются. И много народа, все подходят, все причащаются. И ее подвели. Хочет она пере-креститься, но тяжело ей крест сделать, мешают ей.

- Сам берет, из своих рук дал мне сухое, не мокрое. А мне дара их не проглотить, стало мне, подавилась. "Господи, господи, прошу, святые и ангелы, господи, полно меня мучить!" Эти смеются. Один говорит: "Подождешь, еще походишь!" А другой за ним: "Да, ее нужно провести еще!" Смеются,хвост и ноги коровьи, когти собачьи. И опять повели меня.

И повели ее с горы к озеру. А мимо их народ, много народа, как на Невском, спешат, пере-гоняют, бегут и бегут, хвосты длинные волокутся, и все с горы в озеро и там у озера оборачивают-ся голубями,- туча тучей стадо голубей.

- Пали голуби на воду и стали пить, а я говорю: "И мы туда пойдём?" "Да, отвечает, пойдём". А один говорит: "Ну, теперь будет вам скоро конец". И уж все ближе мы к озеру. Перхаю, не проглотить мне дара их. "Господи, прошу, полно меня мучить!" Вкруг меня скачут дети, и я прибегаю к детям, не спасут ли меня: "Ангел-хранитель, храни меня, храните меня, помилуйте!" Все озеро голубями закрыто, мутная вода, грязная. И я вошла по колени в воду. "Теперь тебе скоро!" - услышала я голос, и который вел меня неизвестно где делся.

Так побывала Акумовна на том свете, таково ее хождение по мукам.

Еще ничего, сердце у ней здорово, только животом Акумовна тужит. А ей немало выпало на долю - этим кнутом сечена!

Отец Акумовны богатый, в славе был. Десяти годов ей не было, умерла мать. У нее семь братьев, все ее старше. Девчонка она была здоровая. Еще маленькой, правда, убила она: спала она в люльке, ребяташки качали, люлька оборвалась, и она с люлькой об землю, кричала день и ночь, и ничем грудью ее не унять, а потом все прошло, потом совсем оправилась. Девчонка она была смышленная. Перед смертью дала ей мать пятьдесят рублей - в холстинке замотаны. И никто об этих деньгах не знал, один отец. И когда отцу надобилось, она, сколько надо, вымотает из холстинки и даст ему, после он все ей вернет, и она опять замотает и никому ни слова. Невес-тка не знала. Отец с невесткою жил. Невестка ее не любила. Как, бывало, обедать, придерется, возьмет ее за руку да из-за стола вон. Истязала девчонку. Отец с невесткою жил. Как-то к отцу пришел брат двоюродный, давно ему отец денег обещал, он за ними и пришел. Да рассердился за что-то отец и отказал. А Василью вот как нужно и обидно: зачем обещал! - пошел Василий, заплакал. Услыхала девчонка - ласковая была и несчастная - догнала Василья, из своих хочет дать ему, из холстинки, только с уговором, чтобы вернул деньги непременно. Ну, тот обрадовался. "Погори мой дом, детей не увидеть!" поклялся. И дала она ему ровно копейка в копейку, сколько отец обещал, двадцать рублей. А пришло время, и не возвращает. Нет и нет у него денег, подожди! Да она ждала бы, и не в деньгах дело, ее отец спросит, что тогда ответить? И надо тому быть, как раз захворал отец: выпил пива, ноги посинели, стало ему худо. Собрали деревню. И Василий пришел, брат двоюродный. Сели вокруг, сидят. Отец - к девчонке, холстинку чтобы принесла, где деньги. Испугалась она, не знает, что сказать, на ключи и свалила: ключи, мол, затеряла. Затеряла! - хорошо, взяла невестка топор да в амбар, сундук разломала, принесла холстинку. Стали деньги считать двадцати рублей нет. Отец к девчонке: "Где деньги?" Молчит. И в другой раз: "Где деньги?" И опять молчит. А стало ему совсем дурно, стал он благословлять детей. Благословил сыновей своих - старших братьев, доходит ее очередь. Заплакала, просит тихонько, чтобы сказал Василий о деньгах. А Василий - разбойник! - отнетился: "Знать не знаю, не брал денег!" - будто никогда и не брал денег. И уж не плачет она, - когда лихо, не плачут! смотрит она на отца, только смотрит. Отец к девчонке: "Благо-словляю, остановился, подумал, - коло белого света катучим камнем!" - скрипнул зубами и скончался.

Коло белого света катучим камнем! - вот слово благословения, вот какое от отца, родительское, получила Акумовна, и, видно, оно - так думала Акумовна - и обрекло ее на блуждание по белому свету.

Шести недель не выжила дома, а жила она на огороде. При отце худо ли, хорошо, терпи, а как умер отец, стала невестка лютее зверя, гонит, поедом ест девчонку. На шестой день Фролова дня взяла Акумовну турийрогская барыня Буянова к себе в усадьбу, в дом. Усадьба Буянова - Турий Рог в шести верстах от Сосны Горы.

В усадьбе хорошо: сама барыня Буянова полюбила ее. Чуть что постарше Акумовны: Акумовне тринадцать, барыне шестнадцать. Сам-то барин Буянов не молодой, в деды обоим годится и часто в город уезжал по делам и всегда дома занят - земли много, лесу много и озера - хозяин был, любил землю: турийрогские конопки такие, что человеку не пройти, куры на полях паслись! А барыня все одна и только с Акумовной, как с своею сестрицей. И всюду водила ее с собой, и в поле и в лес - в прутняк за грибами, в бор по ягоды. В бору на жарине на солнопеке ягода красная - любо брать ягоду, орехи щипали, собирали желуди, чтобы кофе делать, а то ляжет сама под сосною, а Акумовну пошлет за цветами. Вернется Акумовна с цветами, принесет много разных - синих, венки заплетет, а она лежит под сосною, плачет. Уберет ее Акумовна цветами разными - синими, целует ее - зацелует всю, сама черненькая, глаза остры и веселы, коса с красною ленточкою - жук.

Год проговодила Акумовна, не расставаясь с барыней, ко всему ее приучали, гладить и стирать учили. Перед Покровом уехал барин в город и захворал. С барином бывало такое: говорили, что они его мучили - у леса есть хозяин и у воды есть хозяин - лесные и водяные

хозяйева. Был турирогский лес глухой, непроходимый, жуку не пролететь, Буянов вычистил лес, и к озерам не было подступу, дороги кругом понаделал, повычистил озера. А им это не нравится. Нет-нет да и соберутся они, придут к нему и укоряют, что уморил их. Оттого он и мучился. Так люди говорили. Дали знать из города барыне в Турий Рог, собралась барыня и уехала.

- Наказала мне барыня,- рассказывала Акумовна,- за Красоткою присмотреть, всякую ночь проверять коровушку. Коров было много, а Красотка одна, любимая. Отелилась Красотка, с этого и началось. Была в деревне свадьба; отпросилась я на свадьбу, обещала к двенадцати вернуться; да засмотрелась и вернулась в два. А в двенадцать Красотка отелилась и теленка ногой убила. "Одному из нас жить: или тебе, или мне!" - сказал скотник: или его прогонят; или меня прогонят. И пошла я к молодому барину, брат барыни в управляющих служил, а войти боюсь: скрипну дверью и опять обратно. "Ну что, жук?" Услыхал барин. "Виновата, барин, простите, несчастье у нас!" - "Иди сюда!" Впустил. Я перед ним на колени, стала на колени, все рассказала, плачу. "Убирайся, собирай вещи! И выгнал. Пошла я в комнату к себе, за столовой моя комната маленькая, а какие вещи собирать, не знаю, нет моего ничего, и плачу. Всю ночь проплакала. Входит наутро барин: "Все собрала?" Я опять: "Простите, барин, виновата!" - "Молчать, не смей плакать, скажу повешу!" И ушел. Думаю, повесить не повесит, пугает, а чего-то страшно, боюсь чего-то. Была суббота, топили баню. Вымыла я полоч, поставила пива, хочу уходить, а барин уж идет Я к двери "Стой, собрала вещи?" Я свое: "Прос-тите, барин, виновата, не гоните!" А он подумал да и говорит: "Согласишься со мною жить, оставайся, а не то уходи!" И вытолкал. А я не хочу уходить, чтобы отогнали от барыни, да, и куда мне идти - к брату опять, к невестке? Хожу и плачу. А скотник наладил: "Одному из нас жить: или тебе, или мне!" Или его прогонят, или меня прогонят И хоть бы барыня приехала, а барыни все нет и нет. Была суббота, топили баню. Вымыла я полоч, поставила пива, сама спешу до барина уйти, чего-то страшно, боюсь чего-то. А он уж входит. "Что, согласна?" - "Соглас-на". Ну, девчонка была, не понимала. "Иди и раздевайся, я тебя посмотрю". Пошла я, стала раздеваться. А на другой день поехал барин в город,- тогда он меня не тронул,- привез из города мне шелковый платок и ленту в косу. Рассказала я няне, старая няня жила в доме, стару-шка. "Это ничего,- сказала няня,только проси пятьсот рублей на книжку, обеспеченье!" А мне и невдомек, какая такая книжка. Ну, девчонка была, ничего не понимала. Зовет меня вечером няня. "Подашь, говорит, барину самовар и не уходи!" А барина комната рядом со столовой. Надела я шелковый платок, заплела в косу ленту, подала самовар, присела к столу, а самое меня так и трясет...

И срам, и стыд, и позор,- стыдно было Акумовне, повеситься хотела: барыня вернулась, ее барыня приехала, а она вот какая ходит! Успокоила барыня, воспитать обещала ребенка, за Красотку простила, не отогнала от себя. И родила Акумовна мальчика, а вскоре и сама барыня родила, и у барыни тоже мальчик. Детей воспитывали вместе, одна нянька за ними ходила, и учили их вместе. Девяти лет обоих в Петербург отвезли. Усыновил брат барыни сына Акумовны. Приезжали они только на каникулы летом, да в Рождество и в Пасху. В один год оба ученье кончили и офицерами сделались. Пожили немного в деревне и опять в Петербург. Как был маленьким, кроткий был сын Акумовны, ласковый, а вырос - бояться его стала Акумовна: как-то так посмотрит на нее, спрятаться хочется, куда уж там слово сказать!

А время не ждет, время берет свое: умер старый барин, они его задушили - у леса есть хозяин и у воды есть хозяин - лесные и водяные хозяйева, так говорили. А за старым барином с братом барыни беда случилась: на престольный праздник семерых зарезали на большой дороге, стали искать, дорожка и привела в Турий Рог в усадьбу, и за укрывательство засадили его. Просидел он год в остроге, вышел, собрался было за границу ехать да и помер. Не видала Акумовна барина, как умирал он, только видала его, как из острога вышел: и узнать нельзя, как земля, почернел. Легкие у него отвалились, так говорили.

Осталась Акумовна опять с своей барыней, и, как прежде, вместе в поле гулять ходили и в лес, как прежде, собирала Акумовна для барыни цветы разные - синие, заплетала венки, и

барыня лежала под сосною, только не плакала, спала - выпивала барыня, давно уж выпивать приучилась: выпьет, заест мятным пряником и заснет.

Барин - брат барыни весною помер, а осенью сына Акумовны в Турий Рог из Петербурга привезли, просил перед смертью, чтобы в Турий Рог привезли: чахотка была. И похоронили его в деревне на турийрогском погосте, а мундир и шапку Акумовне дали. А год не истек, померла и барыня. В день своей смерти она сон видела, будто пришел барин старый и с белою собакой... И похоронили барыню.

Опустел Турий Рог, осталась одна Акумовна. Молодой барин не захотел держать ее, рассчи-тал после похорон. И осталась она совсем одна. Плакать не плакала

когда лихо, не плачут!

Обошла она в последний раз поле, и лес, и прутняк, посидела в последний раз в бору на жарине, где красная ягода, и под сосною, где лежала ее барыня, поклонилась лесу, и полю, и бору, и сосне и пошла. Пошла по большой дороге из Турьего Рога мимо Сосны Горы, мимо брата и невестки, мимо Васильевой избы, мимо кладбища, мимо крестов отца и матери, все прямо из Турьего Рога, все прямо по большой дороге

коло белого света катчим камнем.

И не год тянулась дорога от Турьего Рога до Петербурга. А пока добралась она до Петербурга, по пути и в сохе ходила, и в косе ходила, и в овраге цыганкою жила.

Девять лет живет Акумовна в Петербурге. Мундир и шапку у ней украли еще тогда между Турьим Рогом и Петербургом, и всего у ней только и осталось памяти: теплые сапожки висят, нафталином пересыпаны, в картонке под потолком, и калоши.

- На вещь посмотрю, как на его самого! - говорит Акумовна, раскрывая по праздникам картонку.

Девять лет живет Акумовна на Фонтанке в Бурковом доме на черном конце и лето и зиму - круглый год, и дальше Сенной да в рыбный садок никуда не ходила, и хочется Акумовне на воздух.

- Хоть бы воздухом подышать! - скажет она другой раз и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны, кроткая, божественная, безродно-несчастливая.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Пустовавшие осень комнаты к началу зимы были заняты, и у Маракулина оказались две соседки: Вера Николаевна Кликачева, с Надеждинских курсов, и Вера Ивановна Вехорева, ученица Театрального училища.

Вера Николаевна худенькая, такая худенькая барышня, что страшно за нее становится и особенно, как просидит она ночь за книгою. Из чего только жив человек: ни кровинки в лице, а глаза, как потерянные - бродячей Святой Руси.

Жила она с матерью в уезде в старом уездном городе Костринске, домишко свой был и сгорел, все добро пропало. И спасли бы, ну хоть частицу уберегли бы от огня, да мать - старая Кликачева, стала она с иконою прямо против пламени и ничего не дала вынести, все погорело: если дать огню все пожрать, не противиться, он тебе сторицею вернет, так думала старуха. А ей и знаменье было, примета предвещала пожар: еще за неделю стол и иконы жутко трещали. Да не спохватилась старуха вовремя,- все и погорело. И жили они после пожара в старой бане. Кончила Вера Николаевна городскую костринскую школу и завековала бы век свой в старой бане, да случилась одна ссыльная из Петербурга, стала учить ее и

приготовила за четыре класса гимназии. Поехала Вера Николаевна в губернский город, выдержала экзамен и три года пробыла там в фельдшерской губернской школе при больнице, а потом в Петербург, кончала Надеждинские курсы.

Нелегко ей было учиться, до слез доходила, так ей все трудно давалось. А бросать не хотела, такая уж труженица. После Надеждинских еще собиралась она на аттестат зрелости готовиться, чтобы поступить в медицинский институт.

Озабоченная, занятая учебниками и работою - ходила на массаж, массажем и зарабатывала - сложа руки никогда не сидела и трудно было от нее слова добиться, редко разговаривала и мало рассказывала. Вспоминала только мать и ту ссыльную - Марию Александровну, которая научила ее и приохотила к ученью, только о них и рассказывала.

Мать Веры Николаевны - Лизавета Ивановна с детства жила в своем маленьком белом с пятнадцатью белыми церквами заброшенном старом городе.

Костринск - старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному первый, плакун-город.

Старики помнят, какая Лизавета Ивановна была молодая - затейная, и хороводница, и сказочница, и старинщица, как венчалась в соборе и как протопоп, знавший и жениха и невесту, все ошибался и имена путал, а Инчиха - старуха прачка - печально головою качала, зная по-своему, по-вещему, что недолго вместе проживут молодые: кто-то третий между ними под венцом стоял. Знала старуха да помалкивала.

И была Инчиха возле Лизаветы Ивановны и тогда, как муж ее умирал, и тогда, как дом горел. Это она научила ее ничего не выносить из дому, все огню отдать и не этому одному научила, а и всему своему непростому вещему знанию. А Инчиха много знала и, кажется, все, что отпущено на долю человека.

Так судили в Костринске.

И спокойно сошла она в могилу, оставив на земле человека вместо себя: Лизавета Ивановна будет о ней особенно богу молиться, потому что ей все передала старуха и сделала для нее столько, что больше уж, кажется, человеку не отпущено дел.

Так судили в Костринске.

Лет десять, как умерла Инчиха и дом сгорел. И, живя в старой бане, Лизавета Ивановна долго мечтала построить себе новый и крепкий дом, такой же, как тот сгоревший. Каждое лето возила она из лесу бревна и складывала у себя на огороде и к батюшке Ивану Кронштадтскому в Кронштадт ездила за благословением, старую строгановского письма икону свезла ему в дар и сто рублей получила на начало. Сколько раз ссыльные ей план рисовали, и, зоркая, внимательно она его рассматривала, искала и того, и другого, и третьего: не забыта ли кладовая, чулан, сенцы, все ли так нарисовано, как было в старом сгоревшем доме. А нового крепкого так и не выстроила. Бревна гнили на огороде, план бережно хранился в шкатулке, а сто рублей - подарок батюшки и до Москвы не доехал. Никогда во всю жизнь не было у нее так много денег и сразу - муж ее мелкий костринский чиновник гроши получал - и батюшкина радужная бумажка на глазах сгорела: всякие безделушки, коробочки, коробки нужные и ненужные, сломанные и цельные привезла она в подарок из Кронштадта, и каждая вещица и каждая коробочка имели свое назначение, а самый большой пакет назначался по усмотрению, и на это усмотрение было ухлопано чуть ли не полсотни. Куда уж там дом строить!

Лизавета Ивановна согнулась, беззубая, только тяжелые белые волосы всю голову опутали, а голубые глаза еще посветлели и ровно бы светятся. Много прожила она на свете, хоть и сошелся свет для нее в ее маленьком белом с пятнадцатью белыми церквами, заброшенном

старом городе, а все дни ее словно опеты звоном похоронным.

Костринск - старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному первый, плакун-город.

Много народа похоронила Лизавета Ивановна и ко всем на могилы ходит, а в Христово Воскресение красные яйца носит, христосуется: с мертвыми важнее христосоваться, чем с живыми, так думала старуха.

И жила себе в бане, как в доме, любовалась, когда солнце за колокольню заходит и крест золотит, и когда на санках в первый раз кататься начнут, и когда по весне на досках скачут, и только ждала к себе человека, кому она все передаст, что когда-то самой ей передала старуха прачка Инчиха. И тот, кому она передаст, будет такой же счастливый, как она сама, потому что нет большего счастья, как ее счастье, так думала старуха.

А ее счастье заключалось в том, что через непростое свое вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, она поняла, как жить надо, и жила она не для себя и не для других и, когда что делала, думала не о себе и не о костринцах, она готовилась к той жизни и тому свету и в делах своих думала о той жизни и о том свете, и потому было и ей хорошо и другим хорошо от нее.

Лизавета Ивановна в Костринске все равно как какой-нибудь братец из Гавани для бедноты петербургской.

В Костринск приехала ссыльная из Петербурга Марья Александровна. Чтобы скоротать дни, девать куда-нибудь свое время, тягучее на подневолье, взялась она учить Веру Николаевну, ей понравилась Вера Николаевна. И часто она ходила к Кликачевым. Заинтересовала ее и Лизавета Ивановна, и она расспрашивала старуху, как та думает, как жить надо, и чем на свете жить, и как забыть то, чего никогда не забыть, и что сделать, чтобы страшно не было и чтобы не хотелось того, чего нельзя взять, - все в таком роде расспрашивала старуху. И по вопросам поняла старуха да и сердце ей подсказало, что ссыльная эта и есть тот человек, кому должна она передать свое непростое вещее знание и сделать счастливой.

С год прожила Марья Александровна в маленьком белом с пятнадцатью белыми церквями заброшенном старом городе на подневолье. На Пасху пришла разговляться к Кликачевым, а на Пасху знающему, как говорят, все особенно видно и ясно. И увидела Лизавета Ивановна у своей избранницы и любимицы где-то в лице над бровями какой-то знак смерти. И, узнав тайну, не хотела себе верить. А как-то на Святой же Марьи Александровны в Костринске не оказалось: скрылась и след простыл.

Много видела Лизавета Ивановна: и мужа похоронила, и чужого горя много видела - где его нет! - только так никогда не вздыхала, когда пришло утро и день, и настал вечер и ночь, а избранницы ее, любимицы ее, обреченной на смерть, больше в Костринске не было. Счастливая, она через свое непростое вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, поняла, как надо жить, но не исполнила дела назначенного, божьего, не передала своего знания, и если не вернется Марья Александровна, помрет она несчастною.

И ждет старуха, трясет головой, опутанной тяжелыми белыми волосами, тихо, кротко и смиренно молится, а над нею старые колокола перезванивают похоронный звон, опевают ее.

Костринск - старый город на реке Устюжине, а по звону похоронному первый, плакун-город.

- А куда же девалась Марья Александровна? - спросил как-то Маракулин.

Но Вера Николаевна ничего не ответила, только глаза ее потерянные бродячей Святой Руси стали как два костра, и всю ночь она не плакала, она выла, словно петлей ей горло сжимали и петля затягивалась туго.

Маракулин тоже не заснул в ту ночь, все прислушивался: он понял и чего-то жутко ему было.

"А вот Горбачеву,- подумал он,- будут век его вечный монашки и девицы в черных платочках на Пасху петь Христос воскрес!"

Мысль эта повторялась и тягучая шла, словами выговаривалась, но когда выдохлась вся, беспокойство охватило его: он забыл о Горбачеве, и о Марье Александровне, и о Лизавете Ивановне и об одном старался домекнуться, что такое устранить надо, чтобы успокоиться.

И вдруг почему-то вспомнил о генеральше Холмогоровой, как идет она такая сытая и здоровая, довольная и победоносная,- вошь, которой не в чем и каяться, идет для моциона - прогуливается со своим складным стульчиком по Фонтанке или возвращается по Загородному из церкви и словно бы паутина за ней тянется сдохлая, какая висит по углам в темных, непроветривающихся крысиных чуланах или лежит между полом и дном несдвигаемых тяжелых сунду-ков, тянется за ней паутина и прямо в рот тебе лезет и душит, хоть в Фонтанку!

Он давно это замечал, только понял сейчас.

И уж всю ночь до утра все обдумывал, как бы это так половчее устранить генеральшу, чтобы и мокрого места от нее не осталось, а без того, не устранив, он не может жить, ему дышать нечем, она не дает дышать ему с своей паутиной сдохлой, не продохнешь от нее, и сна нету, и терпения, и покоя.

И если бы Маракулин в минуту отчаяния своего убил генеральшу Холмогорову, а наутро его к ответу притянули, то, опомнившись, конечно, он одно бы мог сказать в свое оправдание, что не он убил ее, убила ее бурковская жестокая ночь.

И всю ночь до утра Вера Николаевна не плакала, она выла, словно петлей ей горло сжимали и петля затягивалась туго.

Жестокие ночи потянулись для Маракулина.

Куда девалась его готовность все вынести и только видеть, только слышать, только чувствовать. Все та же одна мысль о генеральше не выходила у него из головы, поперек горла стала ему эта несчастная генеральша.

Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный.

Прочитав поутру в газетах о докторе-отравителе, он спрятал газету под подушку и уж ночью перед сном снова перечитал ее.

- Благодетель человечества,- шептал он впотьмах,- доктор, может, ты уж одну вошь отправил на тот свет, может, ты... и еще кого-нибудь отправишь!

А припоминая газетные возмущения и негодования, с упоением сказал себе:

- Это сестры генеральши моей за вошь, отравленную доктором, истинным благодетелем человечества, дружно заступились!

Он вставал среди ночи, зажигал свечку, перечитывал газету, прятал ее под подушку и опять ложился и впотьмах шептал - думал до утра.

И свое бурковское отчаяние переносил уж с себя на все человечество, благодетелем кото-рого будто бы может явиться доктор-отравитель, посылающий на тот свет вошь за вошью и очищающий воздух, чтобы дышать, а то ему дышать нечем и сна нет, и терпения, и покоя.

Сумасбродный человек и в своем сумасбродстве упорный.

С неделю, больше, в каком-то исступлении жил Маракулин и дошел, как ему казалось, до точки, а дойдя до точки, нашел себе лазейку опять на свет выбраться, отыскал право быть на свете, а ведь оно с осени-то поколебалось, и уж, что грех таить, не поколебалось, а пропало вместе со сном, терпением и покоем.

Горбачев, по мнению Маракулина, после всех своих шатаний и хитросплетений, открыл и понял, как ему жить: он душу свою спасти хочет и для этого ладаном углы окуривает, а все остальное - перевешает ли он всех детей на веревочке или в розовых бумажках конфетами примется их откармливать - для спасения его души не важно.

Марья Александровна после всех своих вопросов тоже открыла и поняла, как ей жить: она и не то, чтобы ценила опасность - такую жизнь, рядом с которой смерть, она душу свою погубить хотела, душу свою за других положить хотела, в жертву себя уготовала ради какого-то закона и правды, от наступления которых зависит счастье человеческое, и, должно быть, убила, или подготавливала убийство, или помогала убийству какого-нибудь лица, по мнению ее, вредного закону и правде.

Лизавета Ивановна через свое непростое и вещее знание, воображаемое или подлинное, все равно, открыла и поняла, как ей жить: не о себе она думает и не о других думает, а думает она о том свете и о той жизни и, готовясь к тому свету и к той жизни, сообразно с этим поступает.

Но ведь и окуривать ладаном да еще от ребятишек отбиваться, так же как подготавливать покушение и готовиться к той жизни, все это дело, действие, работа и, кроме того, для своего совершения предполагает много очень важных решений, и прежде всего знать надо и, за свою ли совесть или за страх перед стариной и деяниями, это безразлично, ответить надо, что должно спасти свою душу, или должно погубить свою душу, или должно готовиться к той жизни, а также твердо положить себе во имя непререкаемое.

А генеральша палец о палец не стукнет, ровно ничего не делает,- и не считать же баню за дело! - и всего достигает, да как еще достигает: генеральша самым наглядным образом и, несо-мненно, закаляется, и уж конца жизни ей не видно, Тут хиромант не ошибся, и, может, она уже бессмертна, а ведь и душу свою не спасает и души своей не губит, а губить все равно, что спа-сать, и, стало быть, отказавшись от всяких спасений и ничего и никому не должная, преуспевает.

И если Горбачев, зная, как жить, имеет право на существование, и Марья Александровна и Лизавета Ивановна, тоже знающие, как жить, имеют право на существование, то генеральша, как некий сосуд избрания, имеет не просто право, а царское право.

"И вот теперь подумать надо и как еще подумать,- рассуждал Маракулин, доходя, как ему казалось, до точки,- и решить себе твердо и раз навсегда: как бы поступило человечество, если бы, ну скажем так, великие державы, союз держав мира во главе с Англией, предложили бы особыми манифестами через палаты и думы подданным своим - всему человечеству эту вошь, беспечальную, безгрешную и бессмертную жизнь генеральши. Уж такая бы возможность выдалась действительным ли открытием, ну какой-нибудь ученый немец, Виттенштаубе наукою дошел бы с помощью своих рентгеновских лучей, или обманом, ну какой-нибудь наш бывший губернатор Бурков-самоистребитель мало ли сколько по Руси таких истребителей, изуверно обращающих на себя свой недюжинный талант, сам Бурков изобрел бы некоторый фортель, шельмовство временное и уж, конечно, так, чтобы чисто, или дерзновением, ну какой-нибудь светносный святолепный старец Кабаков, завалив свое подполье с граммофоном, изрека-ющим глас с небеси, объявил бы себя миру, как вождь и судия - искупитель изначального Муркина греха, и сотворил бы нерукотворный Новый Сион с

миром и милостью, скоро, просто и дешево, как отнеслось бы, что ответило бы на это человечество? А думаю я так,- продолжал Маракулин рассуждения свои, с маракулинским упорством доходя до своей точки,- что и без всяких даже излишних слов и церемоний, забыв должное и недолжное и всякое спасение, тихонечко, не снимая шляп и других соответствующих сану головных уборов, спустили бы подданные с себя штаны да, осенив себя крестным знаменем, на зов мужественного, свободно-го, гордого, святого слова юркнули бы в какую-нибудь гигантских размеров конским волосом заросшую голову, состроенную хоть бы и у нас на том же Бельгийском заводе, впрыгнули бы в этот кабаковский нерукотворный Новый Сион с миром и милостью, чтобы начать новую вошью жизнь: беспечальную, безгрешную, бессмертную, а главное спокойную: питайся, переваривай и закаляйся. Стульчиком складным обзавестись всегда успеется, да, может, в таких всеобщих, а потому и обязательных, добровольно принятых условиях, когда у каждого на шее забренчит коровий колокольчик, чтобы, питаясь, не затеряться, и без складного стульчика безопасно будет по Фонтанке для моциона прогуливаться и на Загородный в церковь ходить. И надо думать, так поступило бы все разумное и доброе - кто себе враг! - и поступило бы законно, правильно, мудро и человечно: в самом деле, ну, кому охота маяться, задыхаться без сна, потеряв и терпе-ние и покой!" Когда в детстве хотел Маракулин быть кавалергардом, он молился, чтобы господь сделал так, помог ему сделаться кавалергардом, а когда хотел быть разбойником, то в тех же словах молился, лишь с заменой кавалергарда разбойником, и так же точно молился, когда хотел быть учителем чистописания. Это главные были его молитвы о самом себе еще в Москве, в Таганке, о пятерках он не просил. А потом, уж молясь по привычке, ничего особенного у бога не добивался, повторяя утром со сна и вечером на сон грядущий: господи, помилуй мя! А потом и - господи, помилуй мя! - забыл. Но теперь, когда, как казалось ему, он дошел в рассуждени-ях своих до точки и открыл царское право, захотел этого царского права быть на свете, он по ночам отбивал поклоны с ожесточением, до боли:

- Господи,- просил он,- дай мне всего на одну минуту вошью настоящую жизнь, введи в славу свою, господи, дай мне хоть на часок передохнуть, а потом да будет воля твоя!

И если бы Маракулин в минуту отчаяния своего проломил себе череп, стучавши лбом об пол, а наутро его к ответу притянули, то опомнившись, конечно, он одно бы мог сказать в свое оправдание, что не он убил себя, убила его бурковская жестокая ночь.

Надо сказать, что дела его, и вообще-то неважные, к Рождеству совсем стали, работы не находилось - ошельмованному работу трудно найти, а в особенности, когда на вопрос: "Чем занимаетесь?" - не скрывается настоящая причина безделья, а Маракулин почему-то не скры-вал ее и наивно, как какой-нибудь двенадцатилетний ребенок о шалостях, рассказывал о своих талонных книжках, как он из-за этих талонных книжек с места слетел.

Плохо было дело. Выручали артисты Дамаскины, Сергей Александрович и Василий Алекса-ндрович, да Вера Николаевна, а то хоть прошение пиши по-гвоздевски, как беспокойный старик Гвоздев, явившийся к нему тогда в Муркин день - в последний его день на старой квартире.

И напишешь: царское право - ночное царское право, видно, и оно не так-то просто дается, и без процентов, которых на всю жизнь хватит, лучше, пожалуй, и бога не беспокой, не добьешь-ся!

На Рождестве артисты елку у себя устроили, пригласили и жильцов Адонии Ивойловны. Народу собралось много, все, должно быть, артисты. Сергей Александрович больше всех хлопо-тал и пепельницы гостям подставлял, чтобы окурков на пол не бросали, а Василий Александро-вич так разошелся, такие огоньки пускал, всех со смеху уморил и обезживотил. А за картами и Сергей Александрович и Василий Александрович проигрались в пух и прах. На людях и Вера Николаевна разошлась и свои костринские старины пропела, каким от матери своей Лизаветы Ивановны петь научилась.

И с тех пор, с дамаскинской елки, вечерами на Святках, сидя одна в своей комнате и отрываясь от учебников, Вера Николаевна вполголоса напевала.

Она пела старинным укладом, и от ее старин веяло Древнею Русью.

Зачин она клала запевом о семи турах и матери их турице, как шли семь туров златорогих подле синего моря, и поплыли за синее море, и выплыли на славный Буян остров, и на Буяне встретила им турица - мать их. И рассказали ей туры, как случилось им идти мимо Киева, мимо божьей церкви Воскресенской и какое видели они там чудо: выходила из церкви девица, выносила на голове золотую книгу, забродила по пояс в Неву-реку, клала книгу на бел-горюч камень, читала книгу и плакала. А турица толкует турам чудо-пречудное: девица - божья мать богородица, а читала она книгу золотую - Евангелие, а читая, плакала - она слышит невзгону над Киевом, над всею Русью-Святорусскою.

А за гурами вставал во весь богатырский свой рост богатырь Илья Муромец, как вдохнул богатырь у гроба Святогора богатырский дух - третью белую гробовую пену, и так пометывает ею и так подбрасывает, не знает Илья, куда с нею силу девать.

А там вон она - Чурилья-игуменья- русая лиса, сорок черных девиц за нею, будто галицы.

И уж гремит и стучит страшный старец Игримище-Кологремище, вышел из монастыря Боголюбова, хочет свою душу спасти, в рай спустить, и тащит в мешке белую капусту, горькую редьку, красную свеклу - девушку-чернавушку.

И опять по синему морю плывут златорогие туры, встречают мать-турицу, рассказывают ей чудо-пречудное. Толкует им турица чудо, девица - божья мать богородица, а читала она книгу золотую - Евангелие, а читая, плакала - она слышит невзгону над Киевом, над всею Русью-Святорусскою.

Пела Вера Николаевна и разбойничью о Усах-молодцах, пела она и о скоморохах - веселых людях...

Потихоньку, скоморохи, играйте,

потихоньку, веселы, играйте!

У меня головушка болит,

У меня сердце щемит...

В кухне перед тремя неугасимыми лампадками молится Акумовна, она молится за свою барыню, за брата барыни, за своего сына.

В крайней комнате перед тремя неугасимыми лампадками Адония Ивойловна поминает Парашины корабли и, ничего не разумея, плачет.

С Верой Николаевной ровно стало что, распелась и заленилась.

- Вы, ей богу же, в Сергея Александровича влюбились! - как-то, войдя враспloh в комна-ту к Вере Николаевне, сказала Верочка Вехорева, посматривая и лукаво, и вызывающе, и даже со злостью.

А та, такая бледная, вспыхнула вся и замолкла, - ни слова.

А ведь и ему не скажет ни слова, умирать будет, не скажет, есть такие, И оттого в ее старинах, от которых веяло Древнею Русью, слышалась глухая, щемящая тоска.

Верочка - так почему-то почти с первого дня повелось звать Веру Ивановну Вехореву, которую Акумовна величала еще и бесстыжею, и не бранно, а ласково, редкий вечер проводила дома. Днем - в школе, забежит на часок домой и куда-нибудь в театр. Если же некуда, сидит у Дамаскиных Сергей Александрович учил ее танцам. Гибкая, тонкая и легкая, как перышко, и когда оба они танцевали, казалось, летали на крыльях: крылья у обоих, как у птиц. Весело проводили время.

Маракулин попал раз на танцы и уж чаще стал заходить к соседям, и оттого, что там была Верочка и танцевала, ему всегда бывало хорошо.

А Вера Николаевна с Рождества уж больше не заглядывала к Дамаскиным и всегда отговор-ку найдет, и сидит она, уткнется в учебники, или дежурство у ней в больнице окажется.

Верочка нравилась Маракулину. Она танцевала хорошо, и читала она хорошо - с голосом. Южанка, но воспитывалась в Москве и в говоре ее не было ни надоедливого южного чириканья, не было и холода северного - смиренной вольности, но зато была крепость и особенная москов-ская желанность.

После танцев Сергей Александрович, любивший стихи, всегда просил Верочку почитать что-нибудь.

И письмо Онегина: "Предвижу все, вас оскорбит печальной тайны объяснение..." - повторяла она для него по несколько раз.

Что поражало Маракулина, а сначала и совсем было оттолкнуло от Верочки, это крайняя ее самоуверенность, непомерная заносчивость и самохвальство, не уступающее скоморошьему зазыванью. Просто совестно становилось за нее. А всякое возражение принималось ею, как оскорбление. И туда занесется она, где уж всякие слова уравниются и всем словам пойдет один смысл - не клик провидящих, а вызов, жуткий крик о каком-то праве своем, перебить, как сказывает старина, всю поднебесную силу, случись только лестница на небеса, случись же кольцо в земле, повернуть всю землю вверх дном. А главное, заносющийся так, жутким криком кричащий о своем праве никогда ведь своего крика не слышит. И жалко становилось Верочку.

Она говорила, что она великая актриса, ей не только не надо учиться, у ней все должны учиться, а если поступила она в какую-то глупую школу, то лишь для того, чтобы пробить себе дорогу. Без этого не обойдешься. И она пробьет себе дорогу, откроет свой клад, и тогда увидят.

- И тогда увидят,- надрывалась Верочка,- многие пожалеют, да будет поздно! - и, перебирая имена знаменитостей и как бы сравнивая с собою, улыбалась не то с презрением, не то с сожалением: - Вот меня вы посмотрите! - И глаза вспыхивали восторгом и горели жгучею ненавистью.- Я покажу, кто я, всему миру, и пускай они увидят.

"Но кто такие они?" - спрашивал себя не раз Маракулин, часто, все чаще задумываясь о Верочке.

Верочка о себе не прочь порассказать, но как-то все по-разному, и не поймешь, где настоящая правда, а где правда такая.

По смерти отца она осталась маленькой. Отец - офицер. Из Вознесенска Херсонского, где стоял полк, мать ее в Москву переехала и поступила экономкой к старому генералу, родственни-ку мужа. Верочка училась в институте и еще не кончила, умерла мать. У генерала

бывал богач заводчик Вакуев, вел с генералом какие-то выгодные дела, не молодой, но крепкий и красавец, так по Москве слыл. Анисим Никитич ухаживать стал за Верочкой и ей понравился. И как-то так случилось, Верочка с согласия генерала переехала к Вакуеву. У Вакуева на Арбате был старый барский особняк. Жена Вакуева померла, дети устроились, и только три барышни и уж в летах - три племянницы, взятые им после смерти разорившегося брата, хозяйничали в его доме. Год прожила Верочка у Вакуева и, надо полагать, за этот год надоела ему, и еще надо полагать, что жизнь ее на Арбате была не из веселых. Анисим, по ее рассказам, любил перемену, разнообразие, и ему все удавалось и с рук все сходило. Анисим и в Петербург отправил ее учиться и высылал ей тридцать рублей в месяц, на эти деньги она и жила.

"Кто же, уж не Анисим ли и три его племянницы, осточертевшие ей, те самые они, кто ее увидят?" - спрашивал себя не раз Маракулин, часто, все чаще задумываясь о Верочке.

Как-то на Федоровской неделе в начале весны Верочка пришла домой такая радостная и оживленная, просто с ног всех сбила.

Адония Ивойловна, на что слезлива и неподвижна, забыла слезы и с мокрыми еще глазами так засуеилась, словно бы Верочка ей дочка была - и вот домой вернулась к матери такая радостная и оживленная.

Акумовна тоже, она топоталась топотнее, словно не в будний день, и особенно ласково посматривала на свою бесстыжую.

И день был солнечный, весной, теплом манило.

На Бельгийском дворе, со снегом тая, расплзалась черная гора каменного угля, а из четырех кирпичных труб, обходя Бурковы окна, ровный тянулся дым, а на Бурковом дворе высыпали ребятишки и даже перволетки со своими няньками.

Вакуев, сам Анисим Никитич, приехал в Петербург, с Верочкой на Невском встретился! - вот оно что, вот отчего и радость такая и оживленность необыкновенная.

Ночь Верочка не ночевала дома. А наутро, как вернулась, сейчас же за комнату принялась - за уборку. И сколько выказала изобретательности, а вообще-то разбросанная, беспорядочная, не верста Вере Николаевне, тут уж всякую пылинку она сдунула и под шатающийся стол бумажку подложила, чтобы крепче держалось, и шпильки свои по коробочкам разложила. И сколько было суетни и приготовлений, цветов достала, как на Троицу. Гостя она ждала к себе - Вакуева, самого Анисима Никитича!

А день был такой же солнечный, весной, теплом манило.

Прошел день - медленный и вечер настал - тревожный, и когда вечером в прихожей ударил звонок, вся квартира - все четыре комнаты и кухня замерли, а Маракулин хотел лампу затушить, но лампа, не спросясь, сама потухла, словно бы грянул гром тарарахающий, московский.

Какой-то студент-технолог в поисках товарища попал не в ту дверь.

И долго Акумовна с ним возилась, так как почему-то никак он не мог примириться, что Любимова никакого нет и не жило.

- Не может этого быть,- упирался студент ерепенясь,- это произвол.

Выпроводили кое-как студента, ушел наконец пьяный, как дым, студент, но и ждать больше некого было.

Верочка ходила по комнате взад и вперед без усталости и не своими шагами: шаги были крепкие и когтистые, а глаза ее бесстыжие, как два острых ножа.

И чего-то жутко было.

Встревоженная солнечным весенним днем, Адония Ивойловна загадывала за самоваром с Акумовной о летнем богомолье: уж пора ей в путь - весна пришла.

- Колышек с колышком свивается,- слышался в ответ растроганный голос Акумовны,- веточка с веточкою.

А Вера Николаевна, кончив свои занятия, тихо напевала любимые свои старины, и от песен ее веяло Древнею Русью и глухою щемящей тоской:

Потихоньку, скоморохи, играйте,

потихоньку, веселы, играйте!

У меня головушка болит,

у меня сердце щемит...

И вдруг замолкла,- ни слова.

Она и ему не скажет ни слова, умирать будет, не скажет.

- Веточка с веточкою, листик с листиком,- слышался растроганный голос Акумовны,- весна пришла.

И было еще тягостней, потому что Адония Ивойловна принялась плакать и громче обычно-венного, вспомнив, должно быть, о муже, как кладбищенская земля уходит и обваливается на его могиле.

Верочка ходила по комнате взад и вперед без усталости и не своими шагами: шаги были крепкие и когтистые, а глаза бесстыжие, как два острых ножа.

И чего-то жутко было.

Но погас певун-самовар, выплакались слезы, и шаги затихли, и все заснуло в доме и во дворе, и гудки автомобилей не доносились с Фонтанки, и в Обуховской больнице замигал огонек по-ночному звездю, и поднялась над кирпичными бельгийскими трубами звезда, заглянула в окно, такая большая, вечерняя, весенняя - час ночи настал.

И слышалось Маракулину, будто стучат, странный стук.

Насторожился он, стал прислушиваться и понял: у Верочки стук, стучит в ее комнате.

И он понял, это Верочка одна в своей комнате,- не заснула и не заснет,- и бьется она головою о стенку без слез, без жалобы, с раскрытыми сухими глазами:

когда лихо, не плачут!

И почему-то все чувство его - все ожесточение, все отчаяние его, утомившееся было на время, вспыхнув, вылилось на излюбленной им, опостылевшей генеральше.

Весь в жару, с каким-то мерзейшим упоением и скрежетом зубным, представил он себе, как эта генеральша несчастная, здоровенная, бессмертная, безгрешная, беспечальная - сосуд избрания, вошь сладко-сладко спит. И ему захотелось сказать об этом кому угодно, но сию

минуту, только бы сказать, пока еще сердце не лопнуло.

И, задохнувшись, он вскочил к форточке и что было сил крикнул:

- Православные христиане, вошь спит, помогите!

И крикнув, он почувствовал, как медленно подступает, накатывается та самая прежняя необыкновенная его радость и вот перепорхнет сердце, переполнит грудь...

- Кого ты орешь! - окрикнул скрипучий голос, и из углов показался волосатый горба-чевский с конским волосом нос.

А стук все стучал.

Это Верочка одна в своей комнате, - не заснула и не заснет, - и бьется она головою о стенку без слез, без жалобы, с раскрытыми сухими глазами:

когда лихо, не плачут!

* * *

Жестокие минуты, мотанье и маянье закончили первый бурковский год Маракулина.

Первая поднялась Адония Ивойловна, поехала она в Кашин, к преподобной Анне Кашин-ской, а из Кашина на Мурман в Печенгский монастырь к преподобному Трифону.

За Адонией Ивойловной после всех своих экзаменов уехала Вера Николаевна к матери до осени в свой маленький белый с пятнадцатью белыми церквями заброшенный старый город Костринск, и такая, в чем душа только.

Последней уехала Верочка. Экзаменов она не держала и свое театральное училище бросила, так как нашла другое, более верное и испытанное средство пробить себе дорогу, - какое, она не сказала. Она сказала:

- На будущий год увидите, на всю Россию покажу, кто я!

Маракулин провожал ее на Николаевский вокзал: Верочка ехала через Москву куда-то в Крым.

После звонка он особенно почувствовал, как ему горько, что больше не будет Верочки, и молча стоял перед вагоном. А она как-то особенно вся вытягивалась, поглядывая нетерпеливо на прохожих и останавливая на себе взгляды, такая тонкая, гибкая и легкая.

И вдруг Маракулин улыбнулся в первый раз за все свое бурковское время, сам не зная отчего и почему, просто улыбнулся, и, должно быть, заметила она: или это было так необычно и неожиданно!

- Обо мне надо плакать! - протянула она по-театральному, прищурившись не то с сожа-лением, не то с гадливостью, и, зонтиком ударив его по руке, сказала совсем и уж слишком сурьезно, даже морщина надулась: - Я великая актриса!

И он поверил тогда легко и всем сердцем, что Верочка великая актриса и что на будущий год она действительно покажет себя на всю Россию и имя ее скоро прогремит на всю Европу - на весь мир.

Вернувшись с вокзала к себе на Фонтанку и очутившись один и только с Акумовной, Маракулин почувствовал, как теперь постыла его жизнь и невозможно так жить.

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а ему, должно быть, надо было талон написать как-то, да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете и не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем:

видеть, слышать и чувствовать.

Но он больше не согласен, потому что не может, он больше не соглашается жить так, не для чего, только видеть, только слышать, только чувствовать, а вошью бессмертной, безгрешной, беспечальной жизни царского права, той капли воды, какую ищет грешная душа на том свете, ему не надо.

Он хочет и будет жить, но чтобы всего хоть один раз снова испытать свою необыкновенную радость, какую испытывал с детства и больше уж не знает, и однажды только подступила она, в ту весеннюю ночь, когда Анисим не пришел к Верочке, в ту весеннюю ночь, когда колышек с колышком свивался, веточка с веточкою, листик с листиком, вспоминались, как листья слипающиеся, весенние слова растроганной солнцем Акумовны.

И ему так горько, горше вечернего, что нет больше Верочки, словно бы в ней-то и заключа-лась для него вся его необыкновенная радость - источник его жизни.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

- Вера! Верочка! Верушка!

Маракулин, переписывавший повесть, над которой сидел с утра до вечера,- редкий и выгодный заказ, свалившийся ему как какая-нибудь освежающая райская манна, вздрогнув, не довел затейливого усика в виноградах заглавной буквы.

А с лестницы все настойчивее повторялось знакомое имя:

- Вера! Верушка! Верочка!

- Акумовна, кого вы там кличете? - не вытерпев, заглянул Маракулин в кухню.

- Веру,- сказала, не оборачиваясь, Акумовна,- у! бесстыжая! - и затоптала вниз по лестнице во двор

Было поздно - часов одиннадцать, уж ветровой закат пыльно расстилался за Обуховской больницей и с короткою ночью напоздали из-за болотных застав туманы, а на дворе, заваленном мусором, щебнем и кирпичами, все еще галдели ребятишки и, заливаясь, брэнчала балалайка,- этого нерусского убогого добра на Бурковом дворе вволю, да по окнам, положив подушку на подоконник, высунувшись, торчали головы, взъерошенные и замороженные каменным петербург-ским зноем в надежде, должно быть, подышать прохладой.

Тушь на пере высыхала, и буквы не выходили, и Маракулину казалось, что Акумовна больше не вернется - затеряется где-нибудь в бурковском мусоре со своей таинственной недозванной Верой.

И когда на кухне опять затоптало и не Акумовнин, чей-то полудетский, полудевичий голос заговорил часто, переходя то в веселый смех, то в ноющее причитание, он с каким-то облегчени-ем задернул занавеску, и опять пошла работа.

Перепиской своей Маракулин дорожил и хотел непременно закончить ее, так как сидел над нею чуть ли не второй месяц. Эту редкую работу достал Маракулину Сергей Александрович перед своим отъездом на летние гастроли. Целых пятьдесят рублей должен был получить

Маракулин, и дела его значительно поправлялись.

- Да кто это у вас там на кухне живет? - спросил Маракулин на следующий день, когда вечером подавала Акумовна журавлевский красный с игрою певун-самовар.

- Верушка,- ответила Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому из стороны,- чудотворная.

И полоскательную чашку принесла уж не Акумовна,- Акумовна в дверях осталась,- чашку несла чудотворная Верушка.

Это была девочка-подросток лет пятнадцати, каких много на Бурковом дворе в няньках служат, вполне уж развитая, как девушка. Но вглядываясь пристальнее, Маракулин встретил в глазах ее что-то такое знакомое и необыкновенно близкое, только назвать не мог, и не припомнить ему, где однажды уж видел такое: огонек какой-то, нет, еще что-то, чего уж никак не спрячешь и у сонного под веками поблескивать будет.

- Вас Верой звать?

- Верушкой... Верочкой,- сбиваясь и тихо как-то и угрюмо ответила девочка и, словно смутившись чего-то, попятилась.

- И даже Верочкой, вот как! - сказал Маракулин, с каким-то восхищением глядя на девочку, и поднялся вдруг.

А она, спрятавшись в коридор за Акумовну, чем-то уж в кухне постукивала или это у него, и бог знает, с чего это бывает, сердце постукивало.

- Барин, что я хочу попросить вас, барин, не трожьте ее!

- Что вы, Акумовна, бог с вами!

Но сел он как пойманный.

- Боюсь Василья Александровича,- продолжала Акумовна,- приедет с дачи, страшно, каждый раз подавай ему, неумный, тоже эти лазают, как ночь, так под дверями шарят, шатуны.

Приютив с улицы, Акумовна ревниво обороняла девочку от Бурковых шатунов - Стани-слава-конторщика и Казимира-монтера, и вечером нередко еще засветло запирала она кухню и укладывала девочку на свою постель под три неугасимые лампадки для безопасности.

А называла она Веру чудотворною так потому, что совершилось чудо над нею.

- Чудотворная она,- говорила Акумовна,- до пяти годов безъязычной была, не говори-ла, и доктору показывали Николаю Францевичу, нет пользы, и к Скорбящей ее водила мать, тоже посоветовали, к Матренушке - босиком ходит, а в темную пятницу пошли на Пороховые заводы, крестный ход в Ильинскую пятницу на Пороховых - двенадцать икон носят и до тысячи маленьких, всяких, отстояли они обедню, стали домой собираться, а она пить просит: "Мама, дай мне пить!" С той самой поры и говорит.

Отец Веры - торговец книжками: книжки, крючки, пуговицы, разная мелочь. Мать Веры хворающая, в поденную ходила: где полы мыть, где на уборку. Жили они в Кузнечном переулке в углах, где хиромант, окна там вроде венецианских - страшные. Стала Вера подрастать, отдали ее в золотошвейки, пробыла с год в золотошвейках, не пригодилась - глаза заболели, поступила в няньки. А тут как-то бежал отец с лотком через Владимирский от городского, у Пяти углов на повороте попал под трамвай,- раздавило. И об эту же пору Вере от места отказали. И

пришлось им тогда очень тесно. Мать и придумала: попробовать к брату послать, - на Муринском в Лесном жил, в дворниках, - не найдет ли он места. Вот девочка и пошла, добралась до Лесного уж вечером и по дороге, дом разыскивая, остановилась у гостиницы музыку послушать. Стоит она, слушает, глаза-то, должно быть, горят, рот разинула, а из гостиницы господин какой-то, с барыней под ручку и смотрит на Веру так ласково. Тоже остановился, стал расспрашивать ласково так. Она все рассказала вплоть до музыки, как музыку остановилась слушать. И какая счастливая случайность: им-то как раз и надобилась нянька и условия выгодные. Обрадовалась Вера, согласилась. Взяли извозчика, повезли ее к себе - и живут-то они тут близко. Какая счастливая случайность! Поздно уж было, стемнело, а домой приехали, прямо за стол ужинать, и Веру с собой посадили. Накормили ее. А как накормили ее, барин повел в другую комнату - через коридор комната спать. А ночью опять пришел. Кричать хотела, рот руками зажал. С этого и началось. Очнулась Вера - утро. Вышла из комнаты - коридор. По коридору бродила, искала барина и барыню, попала в буфет, - она ведь в гостинице ночевала! Спрашивает буфетчика, где барин и барыня? Буфетчик смеется: никаких нет ни барина, ни барыни, а хочет она, пускай к нему идет в няньки. Вот положение: не согласиться страшно, вернуться к матери страшно, согласиться, а что если буфетчик-то, как вчерашний барин, зажмет рот руками?.. И то страшно и другое страшно, а третьего нет. И все-таки пошла к буфетчику в няньки. Детей оказалось много, кое-как справлялась, и так с неделю. А через неделю, как уж пообвыкла, перевел ее буфетчик в отдельную комнату спать, от детей отдельно - детей много! - ей как-будто бы так удобней будет и спокойней. И опять пошло то же, сначала сам хозяин-буфетчик, за буфетчиком околоточный надзиратель. Как ночь, уж кто-нибудь непременно - человек по пять за ночь к ней приводили. И никуда из комнаты не выпускали, и детей она больше не видела: у них была новая нянька. Плакала, да что же, только смеются. И вышла Вера из комнатки от буфетчика одним чудом. Счастливая случайность: пожар - загорелось в гостинице. А то бы пропала. Выскочила она в суматохе из комнатки своей да бежать. Прибежала в Кузнечный в углы, где хиромант, а матери нету - от холеры померла мать. Вот положение, хоть назад к буфетчику в комнатку возвращайся. Да сжалилась дворничиха, тоже, как Антонина Игнатьевна, старшего Михаила Павловича жена, к братцу в Гавань ходила, жалостливая, с Антониной Игнатьевной знакома, и послала к ней в дом Буркова, не найдет ли девчонке местечка. А Вера вместо Антонины Игнатьевны попала к Акумовне

- Чудотворная она, - говорила Акумовна, - одно страшно, лазают, как ночь, под дверьми шарят, шатуны, страшно.

* * *

Лето тянулось нескончаемо, томяще, однообразно.

Стояла жара, и по всему Петербургу, по всем улицам стояли рогатки мостовые, как всегда, перемачивали - ни проходу, ни проезду, и духота.

По вечерам за самоваром Акумовна гадала Маракулину, как Адонии Ивойловне зимой за самоваром. Гадала много и щедро, не только на нем, трэфовом или, как говорила Акумовна, крестовом короле, но и на других королях и дамах - крестовой, червонной, бубновой, пиковой, на всех тех лицах, какие выходили ему по картам, чтобы и их судьбу узнать, и тем вернее дознаться, кто они такие и что у них на мыслях.

Карта не лгала. Одно и то же, какая-то бестолочь:

- Немножко скука.

- Немножко деньги.

- Немножко слезы.

- Досада.
- Молодая особа.
- Собственный свой дом и вещь.
- Благородный важный господин с бумагой.
- Казенный дом.
- Молодой особы скука.
- Немножко неприятно.
- Собственные свои хлопоты.
- Собственный свой разговор.

И оставался Маракулин постоянно при собственном своем разговоре.

Разложит Акумовна в последний раз, зашепчет последние слова.

- Для дома.
- Для сердца.
- Что будет.
- Чем кончится.
- Чем успокоится.
- Чем удивит.
- Всю правду скажите со всем сердцем чистым.
- Что будет, то и сбудется.

И в последний раз все одно и то же - одна карта: какая-то бестолочь одна и собственный свой разговор.

Карта не лгала. И только иногда, должно быть, надоедало картам, и они сердились: начинали издеваться - покажут большую перемену или выйдет большая дорога, большие деньги, исполнение желаний.

За картами нередко Акумовна вспоминала свою барыню, старого барина, брата барыни и своего сына, и какие сны кому снились, и перед чем снились, и что какой сон означает.

- А наш турирогский батюшка хороший был, великий покаянник, отец Арсений,- вспоминает Акумовна,- перед смертью своей встал и спрашивает: "Готовы ли лошади?" - "Какие, батюшка, лошади?" - "Да ведь я, говорит, только что молодых повенчал, на свадьбу меня зовут за границу ехать!" Да и помер. А за шесть дней, как старому барину помереть, видела моя барыня, будто она сапог с ноги потеряла. А перед смертью барыни приснилось мне, сию я будто перед печкой - затопила печку, дрова разгорелись, стал жар разливаться, я нарезала сала, положила в горшок, поставила в печку, и только что поставила, горшок и развалился на две половины и затрещал, жар и чад такой... Не дал мне родитель слова благословения. Так все и вышло! Катучим камнем коло белого света.

- А что же брат ваш и невестка? - спросил как-то Маракулин

- Да то же, одно - маются: лесу нет, дров нет, покосу нет; а меньшая дочь их Федосья, племянница, в Турий Рог ходила в поденную полоть, барину, молодому Буянову, понравилась, баловной барин, и оставил ее барин у себя на месяц в доме служить, а месяц кончился, еще на месяц, а там и на всю зиму. Брат-то все понимал, да невестке не сказывал. Лесу нет, дров нет, покосу нет, а от барина и дров дадут и денег, выгодно. Так всю зиму и прожила Федосья. А на Красную горку уехал барин в город, там и женился. И пошла Федосья домой к отцу опять, а уж все знают - все узнали! Стали ее попрекать братья, что такая она, грех-то у ней этот, как воронье, заклевали, и не вынесла, - за девять ден до Покрова померла. Двадцатый год минул, молодая. А Василий, двоюродный брат, на маслину ноги отморозил...

Вспоминая Турий Рог и Сосну Гору, Акумовна нет-нет да и заметит и такое турийрогское и сосногорское, что, кажется, и в голову не придет на Бурковом дворе.

- Теперь,- скажет,- рожь уж готова, слава богу! - и перекрестится: Дождь не хорошо.

Вера привыкла к Маракулину и не дичилась больше, и он привык к ней и хорошо было, когда она входила в комнату:

впереди Акумовна с самоваром, а за нею Вера с полоскательной чашкой.

"Из полоскательной чашки на том свете дьяволы дьяволов и грешников причащают!" - вспомнилось как-то Маракулину видение Акумовны из ее хождения по мукам, и он впервые с отъезда Верочки улыбнулся.

И Вера, словно прочтя его мысли, ответила ему.

И он долго видел ее улыбку полудетскую, полудевичью.

И как пусто показалось, когда Вера, найдя себе место, перебралась из кухни от Акумовны тут же на Бурковом дворе на четвертый этаж во флигель так назывался черный конец дома к Бельгийскому заводу.

Акумовна частенько пропадать стала: наведывалась к своей чудотворной к огоньку своему, к Вере своей, учила ее, должно быть, и чистоту наводить и морить березовые дрова, что-нибудь такое.

И Маракулин оставался совсем один, пусто ему показалось.

Какой-то жилец из флигеля такую взял повадку: как вечер, высунется из окна лицом к Маракулину, смотрит и свистит. И то, что он глаз с него не спускал, а Маракулин уверился, что это так, и то, что свист не прекращается, все это доводило его до бешенства и волей-неволей приходилось закрывать занавеску и сидеть в духоте.

И пусто было, и душила злость.

И по утрам, читая газеты, с каким-то нетерпением искал он и, находя, радовался - злорад-ствовал всяким убийствам, пожарам, катастрофам, наводнениям, ливням, землетрясениям, веря в злорадстве своем, что страхом можно взять человека, утратить человека, вывернуть как-то мозги его и душу, и тогда прекратится вечерний самодовольный, наглый свист над ухом.

А на новом Веринем месте дело, должно быть, неладно шло, что-нибудь случилось: не оборонить, должно быть, Веру от шатунов да и за ней самой не усмотришь, бесстыжая.

Прерывая гаданье и заговаривая о Вере, со слезами говорила Акумовна:

- Я к государю пойду: как помирать, руки так - и все расскажу.

- Не допустят, Акумовна

- Нагишом пойду, нагая: как помирать, руки так - и все расскажу

- И нагишом не допустят.

Но она стояла на своем, она верила, только государь заступится, не пропадет девчонка, и долго стояла на своем и вдруг примолкала, смирялась.

И Маракулину слышалось, как шептала она свое конечное, свое отходное кару и награду делам:

- Обвиноватить никого нельзя.

- Да кто ж виноват-то, Акумовна?

- Я черный человек, я ничего не знаю,- отвечала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.

Лето тянулось нескончаемо, томящее, однообразно. Только и ждал Маракулин праздников: все-таки праздники.

* * *

Первым вернулся Василий Александрович клоун, представлял он и лето в Петербурге, но жил на даче в Шувалове и на квартиру иногда только заходил и то заглянуть, рабыня Кузьмовна тоже в Шувалове находилась при нем.

За Василием Александровичем, окончив свою поездку, вернулся Сергей Александрович, привез с собою из теплых краев, или, по словам Акумовны, из того места, где на быках ездят, сто баночек с медом,- такой уж человек хозяйственный.

А вскоре за Сергеем Александровичем приехала и Вера Николаевна с поляничным вареньем из своего маленького белого с пятнадцатью белыми церквями заброшенного старого города, от матери из Костринска.

За Верой Николаевной явилась сама Адония Ивойловна.

Все вернулись, не хватало только Верочки. И вестей от нее никаких не было.

И уж в сентябре по зеленой бумажке-билетику, выставленному у швейцара Никанора на дверях, Верочкину комнату сдали.

Новой соседкой Маракулина оказалась Анна Степановна Шиянова, по мужу Лещева, учительница из Пурховца.

Пурховец - древний город на реке Смутре, а по пению соловьиному первый, соловей-город.

В Пурховце, в женской гимназии, где преподавала Анна Степановна, были два учителя, две знаменитости: учитель истории Раков и учитель словесности Лещев, оба приятели и оба, по собственному определению своему, идейные. Судьба Анны Степановны тесно связана с судьбою Лещева, а Лещев и Раков, как две половинки, и по единому сердцу и по единому разуму - одно. Только Раков постарше, Лещев помоложе. И Раков и Лещев жили вместе у одной хозяйки, жили скупно, трезво и уединенно.

Павлина Поликарповна, их хозяйка, хоть и не шестнадцати лет, но еще бодрая и крепкая,

служила она в незапамятные времена свои у губернского советника Герасимова в кухарках, и Герасимов перед кончиною своею во всем ее ограничил, как выражалась сама Павлина Поликарповна, выигрышный билет подарил ей за примерную службу. Купила Павлина Поликарповна домишко, пускала жильцов, тем и жила.

Раков, разведав о герасимовском билете, не преминул, как историк, заметить себе его номер в памятную книжку и всякий раз следил по газетам выигрыши, а к Павлине Поликарповне был почтителен, строг и ласков. И шли так годы тихо, уединенно и в ожидании.

Павлина Поликарповна, хоть и не шестнадцати лет, а думка-то в голове у ней бывала, нет-нет да и всплакнет она просто беспричинно так. По весне особенно, когда припекать начнет, да куры все занесутся, да сады зазеленеют, да ночи пойдут теплые, душные, томящие, да соловей защелкает, да сам Раков заиграет на гитаре, что на гусях, заиграет да запоет соловьем - "По синим волнам океана, лишь звезды блеснут в небесах, корабль одинокий несется, несется на всех парусах..." - тут уж никакое, кажется, сердце не выдержит, и упадет у Павлины Поликарповны сердце.

Пурховец - древний город на реке Смутре, а по пению соловьиному первый, соловей-город.

Просматривая поутру Пурховецкие Губернские Ведомости, Раков неожиданно разгоготался, да так - ну как на радостях человек загоготать может, когда горла - мало, да и как было не загоготать: герасимовский билет и не что-нибудь - все двести тысяч выиграл! Но вовремя спохватившись, сунул Раков в карман газету, нарочно громко раскашлялся и, затаив Павлино счастье, пошел, как ни в чем не бывало, в гимназию на уроки.

Уж к вечеру, едва высидев уроки, Раков от волнения разнемогся, и пришлось Павлине Поликарповне с больным всю ночь провозиться. А наутро легче не стало, и так с неделю. Целую неделю ухаживала Павлина Поликарповна за Раковым, а на заговенье они поженились. И первым делом после венца, как остались наедине молодые, был нескромный, но законный вопрос молодого: "Где билет?" - "Какой билет?" - "Какой! герасимовский!" А билет-то герасимовский давным-давно продан, билета уж никакого нет.

На заговенье, чуть ли не в тот самый день, женился и Лещев Лещев женился на Анне Степановне Шияновой. Шияновы - первые богачи пурховецкие, но отец Анны Степановны проиграл в карты все состояние, и жили они после большой жизни в бедности. Так и помер отец, так и померла мать. Анне Степановне было уж за двадцать, и странное дело, ничего в лице ее не было ни отталкивающего, ничего такого, чтобы безобразием или уродством назвать, даже напротив, а между тем никому она особенно не нравилась и вообще не ухаживали за ней. И невестой не считалась она в Пурховеце, да и сама она себя не считала и уж в тайности сжилась, должно быть, что одна и одной останется она, и не сжилась, нельзя с этим сжиться, а уверила себя. А в один прекрасный день получает она наследство от тетки какой-то, о которой и не слыхивала, и наследство немаленькое - тысяч пятьдесят что-то. И, конечно, в гимназии об этом известно, сама же она первая всем рассказала, и, конечно, Лещеву тоже известно. Тут-то Лещев и принялся за дело: по пятам пошел ходить за Анной Степановной, несчастным каким-то вдруг сделался, плакаться стал, ныть стал, и гонения какие-то на себя выдумал, и врагов каких-то нашел, и все болезни у него открылись сразу, и все неизлечимые, и вот-вот самоубийством кончит и при этом любовь разыграл самую отчаянную, соловьем запел, да таким соловьем...

Пурховец - древний город на реке Смутре, а по пению соловьиному первый, соловей-город.

И женился Лещев на Анне Степановне, отобрал все ее теткинское наследство - все пятьдесят тысяч да и показал ей дверь:

"Мне, говорит, разве тебя надо, мне деньги твои надо!"

Веру Николаевну жалко было, за Верочку страшно, а за Анну Степановну больно. Как-то так она улыбалась, больно на душе за ее улыбку.

Вера Николаевна хотела учиться. Для чего учиться? Да так ей ее Марья Александровна сказала, в которую она, как в Иверскую, поверила. И она будет учиться, пока сил хватит, и когда-нибудь за какой-нибудь физикой Краевича богу душу отдаст.

Верочка хотела стать великой актрисой, прогреметь на всю Россию, на всю Европу - на весь мир, а хотела она этого так потому, что отомстить Анисиму хочет: на одну минуту, чтобы Анисим Никитич Вакуев, которому все удается и с рук все сходит, пожалел бы себя и раскаялся, что променял ее на каких-то других, полюбивших его или продавшихся ему. И вот она пробивает себе дорогу каким-то верным и испытанным способом и будет пробивать, пока хватит сил.

А чего хотела Анна Степановна? Осталась она одна и без ничего, но не в этом дело; она и одна жила и без всяких денег жила, тут другое, тут душевное - она всей душой поверила, что ее полюбили, и сама она полюбила. Так чего же она теперь хочет? Чего хочет! А чего хочет чело-век, душу которого смазал кто-то, душу которого изнасиловали?

И, вглядываясь в Анну Степановну, Маракулин все более убеждался, что ей, собственно, на земле и делать-то нечего. И оттого она так улыбалась, больно на душе за ее улыбку.

* * *

Осень началась трудная, всем пришлось туго. После осеннего праздника Воздвиженья, Василий Александрович - клоун, летая в цирке на каких-то воздушных трапециях, упал и расшибся или, как говорили по двору, столбовую кость и ствол ног повредил.

И так ему плохо было после воздушного его падения, даже попросил священника приоб-щиться. А доктор сказал, что пролежит он месяцев шесть и операция будет трудная.

- С пятки срежут и отворят мясо,- соболезнавала Акумовна,- будут долой костку долотом скалывать, долой прочь, обе пятки, а испить бы ему настою из лошадиного навозу и все бы как рукой...

У Маракулина после летней удачи опять ничего не было.

По разным местам и учреждениям самое большее записывали его адрес, а известно, когда запишут адрес, уж ничего не дождешься.

Случилась в то время в Петербурге перепись собак. И с неделю ходил он по всяким Бурковым и Бельгийским дворам, считал собак, а ходивши по собакам, познакомился с одним студентом, тоже счетчиком, Лиховидовым.

Студент этот, Лиховидов, сам находясь при последнем издыхании, как-то ухитрялся всякие собачьи занятия доставать, и кое-чем пользовался от него Маракулин. И уж дело пошло было опять на поправку. Но тут с Лиховидовым произошло недоразумение. Занимался Лиховидов где-то в конторе, и как-то выходит он после вечерних занятий поздно, и как раз выходит главный над ним - управляющий конторой, разодетый такой, в шубе - воротник богатый. "Как, гово-рит, думаете, господин Лиховидов, что теперь лучше, чаю попить или кофею?" А Лиховидов с утра еще ничего не ел, как собака голоден, да и ветром петербургским на него дунуло, зуб на зуб не попадает,- посмотрел он на управляющего, словно бы соображая о чае и кофее, что теперь лучше, чаю попить или кофею, да как свистнет его по физиономии. И с тех пор пропал. А пропал Лиховидов, стало дело и у Маракулина.

На ловца и зверь бежит. После долгих поисков Анна Степановна нашла себе уроки в какой-то

частной гимназии, и гимназия оказалась образцовой, а начальница гимназии Леднева из идейных. Леднева-начальница обладала великим искусством не тратить ни копейки из своего кармана, и делала она это и как-то очень просто и мудро и, конечно, затуманивая свое дело самым настоящим петербургским туманом. Говорили, что платит она жалование учителям из каких-то таинственных обмундировочных денег, ей вовсе не принадлежащих, и что учителя в ледневской гимназии всякий год обязательно менялись. Раков и Лещев по своей идейности выходили перед Ледневой просто дрянь, как любой семеновец дрянь перед Станиславом-конторщиком и Казимиром-монтером по части кухарок.

Два месяца не получала Анна Степановна жалованья, все ей оттягивали под разными предложениями, и только на третий месяц выдали, и само собою, не как обыкновенное жалованье, а как ссуду какую-то в счет тех же таинственных обмундировочных.

Получив первое жалованье, повела она и Маракулина и Веру Николаевну в Мариинский театр на оперу, и билеты обошлись ей не дешево, зато места хорошие и было видно все и слышно.

В этот вечер в театре Маракулин встретил Верочку.

Сколько раз за лето и осень думал о ней и в адресный стол посылал, но ответ получался один: выбыла.

И вот он с ней встретился.

В первую минуту ему страшно стало, но страх перешел в беспокойство: Верочка была не одна, с Верочкой шел Глотов - кассир Александр Иванович, приятель Маракулина.

Верочка нисколько не изменилась, впрочем, разве изменяются люди! Верочка его сразу узнала, а Глотов - нет или умышленно по каким-нибудь бесспорным соображениям, по бесспорной причине сделал он вид, что сразу не узнал старого своего приятеля

- Вот неожиданность, а мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!

А Верочка, узнав, что и Вера Николаевна в театре, сейчас же пошла ее разыскивать и больше уж не вернулась.

Глотов повел Маракулина в буфет.

- Ты где ее встречал? - спросил Глотов приятеля.

- Зимой у одной хозяйки прожили,- ответил Маракулин.

- Так ты ее очень хорошо знаешь?

- Как когда.

И вдруг злость осунула их лица. Оба прекрасно поняли друг друга. Разговора больше не могло быть. Но разойтись было неловко. И молчать было неловко.

Глотов предложил выпить. Маракулин отказался.

И они вышли из буфета, шли рядом, плечо о плечо, оба разыскивали Верочку. Маракулин молчал.

А Глотов заученно и с каким-то удовольствием повторял одно и то же:

- Вот неожиданность, а мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!

В следующий антракт Маракулин не встретил Верочку, и Верочка, пообещавшая еще раз

зайти к Вере Николаевне, не пришла. И больше он ее не видел.

Из театра Маракулин с Верой Николаевной и Анной Степановной отправился на Невский в кофейную.

И встреча с Верочкой, и встреча с Готовым, встреча их вместе, театр и кофейная, все это взбудоражило Маракулина, и то, что скрытно закипало в нем там в буфете, когда стоял он с Готовым, вылилось жгучим отчаянием.

И стражда, он почувствовал, что если бы сейчас вот встал кто-нибудь от столбика, какой-нибудь Готов, или брат Глотова, или сват Глотова, который знает Верочку и Верочка которого очень хорошо знает, встал бы и подошел к нему и свистнул бы его по физиономии, как студент Лиховидов управляющего, он бы ногу ему в благодарность поцеловал и шею бы свою заодно подставил, пускай бьет кулаком, сколько душе угодно, или пускай по зубам ударит, чтобы челюсти треснули

И, чувствуя всю жгучесть вольной на себя принятой боли в жестокой страде своей, вспомнил он о своей излюбленной, опостылевшей, несчастной генеральше, и ему пропала охота - ему уж не надо было ни оплеухи, ни кулака, ни пинка ни от тех подстриженных усов, самодо-вольно болтающихся с плюгавым безусьем, и ни от тех лихих рыжих закрученных завитком вверх, которые знают Верочку и Верочка их очень хорошо знает.

Нет, он думал о своем отчаянии, как было бы хорошо подварить генеральшу кипятком, ну так шпарнуть чуть-чуть кипятком, и с какою злостью бросится она кусаться и всех до одного искушает.

- Почему фамилия Верочки теперь не Вехорева, а другая - Рогова.

- Потому что она генеральша,- ответил Маракулин.

- Какая генеральша?

Вера Николаевна не понимала и смотрела то на него, то на Анну Степановну, которая улыбалась, и было больно на душе за ее улыбку.

А Маракулину захотелось уж самому встать и тут же сейчас у одной глаза выколоть - эти потерянные глаза бродячей Святой Руси, оробевшей, с вольным нищенством, опоясанной бедностью - боголюбским пояском, все выносящей, покорной, терпеливой Руси, которая гроба себе не построит, а только умеет сложить костер и сжечь себя на костре.

А другую задушить, чтобы перестала улыбаться, не было бы этой улыбки, из которой с каким-то наглым бесстыдством лезет в глаза всем и каждому смазанная изнасилованная душа, ей незачем жить, ей нечего делать, ей нет места на земле!

А может быть, ему самому уж нет места на земле?

- А как вы думаете, Вера Николаевна?

- Верочка адрес свой дала и предупредила, чтобы не спрашивать Вехореву, а Рогову.

Маракулин закрыл глаза, он почувствовал вдруг крайнее утомление и какое-то полное безразличие, и если бы, кажется, пожар начался в кофейной, он не тронулся бы с места, и если бы потолок стал обваливаться, он даже не взглянул бы.

Заметив, что ему не по себе, Вера Николаевна и Анна Степановна не хотели его тревожить и, чтобы не сидеть над душой, тихонько разговаривали.

Вера Николаевна рассказывала про какую-то сестру милосердия:

- Привезли в больницу ребенка, кипятком ошпарен, чтобы операцию сделать, надо кожу, а где взять кожу? - у ребенка? - не вынесет, ослаб очень, вот сестра и предложила свою, у ней и вырезали сколько надо.

- И что же?

- Слава богу, живы.

Анна Степановна, улыбаясь, перекрестилась:

- Слава богу.

Маракулин поднялся, и пошли на Фонтанку.

* * *

Верочка жила в меблированных комнатах на Мойке - небольшая квартира, и, кроме ее да хозяйки, никто в квартире не жил.

Комнаты были заставлены всякими диванчиками и столиками и завалены всякими вещицами, так, должно быть, было и у Ошурковых в их десяти комнатах.

И какой-то всюду канареечный цвет: желтые подушки, желтые ширмы, все было желтое.

Маракулин, разыскавший наконец Верочку, в прихожей еще сообразил, что Верочка тут не по собственному выбору, а кто-то поселил ее в эту меблированную желтую квартиру.

Он застал ее и обрадовался удаче своей: она одна была. И разговорился легко и просто. Как всегда, сначала держала она себя крайне вызывающе и рассказывала как-то все по-разному, и не поймешь, где настоящая правда, а где правда такая. Она переменила фамилию только потому, что она на сцене, она служит в театре, в одном петербургском театре-кафешантане.

- Я там танцую, приходите посмотреть когда-нибудь.

Но театр театром и танцы танцами, только Анисим денег ей уже давно не высылает. Вместо Вакуева ей один важный старик покровительствует и эту квартиру для нее снял, и для него она фамилию переменила, фамилию ей переменили: Варягинский важный, при дворе бывает.

- Так, старикашка, левым глазом мышь видит: зажмурится, и мышь пропадет, а откроет глаз, и опять мышь тут как тут, серенькая, мышонок.

Анисим денег ей уж давно не высылает, а ей нужно деньги. Ей надо, чтобы старик Варягинский на ее имя капитал положил, и тогда...

- Я покажу, кто я, всему миру покажу, и пускай они увидят!

Да, она покажет себя, ее имя прогремит на всю Россию, на всю Европу на весь мир. Она выбрала свой сожигающий путь, но ведь обыкновенным путем никуда не выйдешь, не пробьешь себе дорогу, без денег никуда не пустят и затрут, будь ты хоть чертом. Надо уметь лгать и деньги, лгать и деньги вот что надо. И она пробовала прожить обыкновенно. Хорошо знает! Не в прачки же ей идти, или же ей в самом деле в прачки идти? В Кузнечном переулке с хиромантом она не согласна жить, и в горбачевских углах она не согласна. А положит старик на ее имя капитал, будут у ней деньги, тогда...

- За деньги все можно купить,- кричала Верочка своим жутким криком, кричал в ней не клич

провидящих, а вызов, крик о каком-то праве своем перебить, как сказывает старина, всю поднебесную силу, случись только лестница на небеса, случись же кольцо в земле, повернуть всю землю вверх дном, и вызов и крик отчаяния ее сожигающего пути,- я проститутка и буду проституткой! А на будущий год я покажу себя, вы меня увидите. И Вера Николаевна от денег не отказалась бы и эта ваша другая, с этой жалкой улыбкою, тоже взяла бы, только им никто не дает, а мне всякий даст, я умею лгать, и я возьму свое!

И бросилась она показывать свои наряды, все комоды и гардероб отворила,- и всякие пла-тья и белье ворохами, как попало, полетели к Маракулину, и уж один пестрый ворох шелковый и кружевной вырос между желтых диванов, как черная гора на Бельгийском дворе.

- И все это мое,- кричала она,- смотрите, подарки, мое все!

Маракулин поднялся, хотел было остановить ее, но подступиться нельзя уж было, и снова сел на желтый диванчик.

А Верочка в каком-то бешенстве мяла, рвала и бросала вещи.

И когда комоды были опустошены и ящики вывернуты вверх дном, она принялась за безделушки, крутила их, кувыркая и разбивая, и сваливала все вместе в одну груду.

- И это все мое, подарки! - кричала она каким-то последним голосом, без всякого голоса.

На одну минуту у Маракулина непреодолимо поднялось желание взять спичку, чиркнуть и поджечь, чтобы все уничтожить, весь ворох, всю гору и эти желтые диванчики, желтые ширмы, желтый абажур, желтые подушки, все подарки.

Верочка схватила с этажерки маленькую бронзовую черепаху, протянула ему, желая, должно быть, подарить эту бронзовую черепаху.

- Когда говорят да... когда говорят да... когда говорят да...- в упор глядя на Верочку и, не принимая подарка, словно ударял он, и, не договорив, задохнулся, плечи его вдруг задрожали.

Да, она сама знает, тут ничего ее не было. А чужие вещи нельзя дарить. Подарков не дарят, но все-таки можно подарить. А тут ничего ее не было, это не подарки, это все чужие вещи. Чужих вещей нельзя дарить. Тут старик хозяин, Варягинский, который мышь видит, Глотов, кассир - хозяин, и всякий, у кого деньги, кто может дать денег, и чем больше даст, тем главнее будет. У ней все опоганено, все охватано, и она уж не может поцеловать Веру Николаевну, нечем поцеловать ее, все в ход пущено, все оплевано.

- И вы, Петруша, вы хотели бы, а? - спросила она вдруг с какою-то злостью: - Да что же вы, хотите, да?

Маракулин поднялся.

- Так вот же вам,- Верочка высунула язык,- не получите-с, нищий! Нищих не принимаю, слышите, не принимаю! - И глаза ее бесстыжие сверкнули, как два ножа, а распутившиеся волосы огнем ее жгли.

* * *

Не разбирая улиц, шел Маракулин, куда ноги вели.

Была декабрьская оттепель, дул теплый ветер, и фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны, висели в тумане.

Выйдя с Подьяческой на Садовую, стал он переходить на ту сторону и вдруг остановился:

у ворот Спасской части, там, где висит колокол, теперь стоял пожарный в огромной медной каске, настоящий пожарный, только нечеловечески огромный и в медной каске выше ворот.

И в ужасе Маракулин бросился бежать.

Подкатывало и давило горло.

И уж дома, очутившись в своей комнате в Бурковом доме один, почувствовал он, что плачет, как только раз в жизни плакал, когда уходила старая нянька.

И ночью ему привидилось, будто лежит он на Бурковом дворе, но Бурков двор больше действительного, и, хотя сжат он с боков домами, шкапчики-ларьки разносчиков как-то глубже стоят, и каретный сарай, и помойка, и мусорная яма гораздо дальше, и больше сложено всяких кирпичей под окнами и щебню и мусору. И не один он лежал на дворе, с ним вместе лежали все жильцы и с парадного и с черного конца дома, из флигеля и горбачевских углов. И хотя многих не знал он в лицо, но тут догадывался и уж не мог ошибиться, что этот вот господин и дама - Ошурковы, которые десять комнат занимают и всякие вещицы у них, вся квартира заставлена и аквариум с рыбками, а тот вон в цилиндре, подвижной такой,- присяжный поверенный Амстер-дамский, весельчак, вести умеет дела, в Сенате швейцары, поди, как Пасхи, его ждут. И сам Бурков лежал - бывший губернатор, самоистребитель, но так как его никто не видел, а видели только мундир его, а рядом с мундиром старший Михаил Павлович с супругою, богобоязненной Антониной Игнатьевной, и торговец Горбачев с какою-то девочкой-дочерью, которой в крыси-ном чулане пальцы выламывал, и Вера с Акумовной, и Станислав-конторщик, и Казимир-монтер, и Адония Ивойловна, и артисты Дамаскины, Сергей Александрович и Василий Алексан-дрович, Вера Николаевна, Анна Степановна и акушерка Лебедева, покрытая меховой зимней шубой, которую у ней на Рождество украли, и швейцар Никанор и студенты, которые панихиду по ночам пели, так и лежали рядышком в студенческих новеньких мундирах и с своим единстве-нным медным краном, и все семь дворников и паспортист Еркин,- дворники с дровами. Еркин с больничными рублевыми марками, весь облеплен марками, и все лицо и руки, и ребятишки в кучу лежали, и персианин-массажист из бань, и та девочка, которая кошке Мурке молока принесла, с черепушкой лежала, и сапожники, и пекаря, и банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки, сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтични-ки, щеточники, приказчики, водопроводчики, наборщики и разные механики, техники и мастера электрические с семьями, с тряпками, с пузырьками, с банками и тараканами, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр, и столяр, и сбитенщик, и все разносчики, обложенные финиками и постным сахаром, пахнущим поганками,- словом, весь Бурков дом - "весь Петербург".

А когда Маракулин, узнав всех своих бурковских, зорче стал вглядываться, то увидел и не бурковских - мать свою, отца и сестер, старика Гвоздева, Александра Ивановича Глотова, Аверьянова бухгалтера, Чекурова, и Лизавету Ивановну и Марию Александровну, Ракова с выигрышным билетом в двести тысяч, и Лещева, и Павлину Поликарповну, и всех блаженных и юродивых, старцев и братцев, и всяких бельгийцев и немцев, скучены были немцы вокруг доктора Виттенштаубе, который лечит от всех болезней рентгеновскими лучами, и, наконец, всю бродячую Святую Русь.

Так лежали на Бурковом дворе, как на смертном поле, но не кости, живые люди, не сухие кости, живые люди, у всех жило и билось сердце.

И звери с людьми лежали, красивый рыжий губернаторский пес Ревизор на своей стальной

докучливой цепочке, высоко поднимал то тут, то там свою умную морду, где-нибудь и Мурка лежала, только застил ее какой-нибудь дымчатый кот.

А рядом с Маракулиным генеральша Холмогорова лежала, вошь.

И низко фонари, как огромные спустившиеся с неба звезды и луны, висели над Бурковым двором в тумане.

"Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко!" нескладно, точно спросонья, потянул носом, заросшим конским волосом, Горбачев.

И вот забренчало что-то, как шашкой, и из шкафчика-ларька вышел пожарный, нечеловечески огромный, в огромной медной каске, и пошел, застучал сапогами.

И ходко, сразу перемахнув через всех маляров, и слесарей, и разносчиков, приближался к Маракулину и, дойдя до него, стал.

Это был самый обыкновенный пожарный - красная рожа.

И тогда-то Маракулин почувствовал, как стало ему тяжело, ни ногой, ни рукой пошевели-нуть не может и уж знает, что ему недолго осталось и только говорить еще свобода, и также почувствовал он, что и всем - всему смертному полю тяжело стало и ногой не пошевели-нуть и рукой и только говорить еще свобода, и чувствуя последние минуты свои, слышал, как по Фонтанке гудят автомобили.

А над ним неподвижно стоял пожарный. Это был самый обыкновенный пожарный - красная рожа.

И хотел бы Маракулин дерзнуть, как какой-нибудь старец Кабаков, молитвою вызывающий глас с небеса, за всех, за весь мир спросить пожарного, но духу не хватило по-кабаковски спро-сить за всех, за весь мир, за все смертное поле, и он спросил о себе:

"А мне хорошо будет?"

"Подожди",- сказал пожарный.

"Хорошо?" - снова спросил Маракулин, едва уж дух переводя и в то же время слыша, как на Фонтанке гудят автомобили.

И ответил ему пожарный да так уныло, едва слово кончил:

"Хо-ро-шо".

ГЛАВА ПЯТАЯ

Перед Рождеством у Маракулина сломался крест.

Взяла его Анна Степановна поправить да пошла из гимназии в Гостиный, у нее там кошелек и вытащили, а с кошельком и маракулинский крест.

Маленький крестильный золотой крест.

На Святках Акумовна гадала, и Маракулину казалось, уж карты окончательно озлобились и издеваются всем карточным своим беспощадным чистым сердцем:

- Веселая дорога.

- Благородный важный господин.

- Деньги большие.
- Если не получали сегодня письма, то завтра получите.
- Выпивает немножко.

А где-то по углам - Трава и Елки.

Но карта не лгала. Нагадала ли Акумовна или и без карт кем-то было положено, только вскоре после Татьянина дня и совсем неожиданно должен был Маракулин выехать из Петербурга в Москву.

Маракулин - московский. Родился и вырос он в Москве и учился в Москве. Лет пять всего до Петербурга прожил он в провинции, бывал по делам и в таких городах, как Костринск, и в таких городах, как Пурховец. Учился он в частном московском реальном училище на коммерче-ском отделении. Только что поступил он в училище, умерла мать, и еще не кончил он училища, умер отец. Последние годы в училище были трудные, самому о себе приходилось думать. У него две сестры, обе старше его, обе замужние. Когда он жил в Москве, он бывал у сестер сначала часто, потом реже, потом совсем редко. Маленьким они его очень любили и баловали, и он это помнил, а они забыли. Когда он жил в провинции, он писал сестрам сначала часто, потом реже, потом совсем редко, только одни поздравительные письма, а потом и совсем перестал писать, они первые прекратили всякую переписку. И уж с Петербурга он привык считать, что у него в Москве никого нет, и только на Калитниковом кладбище две могилы стоят,- два креста: отца крест и матери крест.

Отец его - старший бухгалтер у Плотникова, фабрики Плотниковых в Таганке, оптовая торговля на Ильинке. Отец его - трудовой человек, упорством пробивал себе дорогу. Мать - другая, мать - странная.

Евгения Александровна - так звали мать - правдивая она была, и простая, и сердечная. Правдивость ее все знали, отец ее хорошо знал и те, кто часто в доме бывали у них, тоже хорошо знали и уж при ней не судачили про знакомых своих, так зря языком не трепали - не говорили такого, чего в глаза не могли бы сказать им. Возможности о ком-нибудь или о чем-нибудь двух мнений: одного мнения домашнего, какое дома высказывается в тесном семейном кругу, другого - уличного, какое на людях заявляется, если для чего-нибудь надобно бывает, такого обиходно-го порядка она не могла постичь, и житейского домeka у ней не было. И потому всегда мог выйти если не скандал, то конфуз, и отцу не раз приходилось предупреждать ее этот житейский домек, знающий два мнения, бесхитростная самозащита и часто подленькая, не мудрость; в мудрости, знающей не два, а двадцать два мнения,- знание и пощада. Высшей мудрости у нее, конечно, не могло быть, о той мудрости, которая чутьем подсказывается, эта была у ней, как и та мудрость, которая сердцем постигается, неряшливости, грубости душевной грубой прямоли-нейности у ней не было. И все ее трогало и мучило, не было у ней равнодушия, и была необык-новенная жалостливость и сочувствие, каждому помочь готова была. И ее любили за это. Женю все знали. Женю все любили за это. Гимназисткой, только что кончив гимназию, влюбилась она в студента, репетитора ее брата, и, как на бога, смотрела на студента. А студент ничего, серьез-ный студент, только улыбается, улыбается и благодарит. Отец ее - дед Маракулина - доктор, служил фабричным доктором у Плотникова и часто на фабрику брал ее с собою. А был у Плотникова молодой техник Цыганов, с фабричными возился, всякие чтения для них устраивал и театры, а впоследствии, как уверяли знающие, он и стачку поднял. Фабричные Цыганова любили и слушались. Женя, бывая на фабрике и видя фабричную жизнь, от которой у ней вся душа переболела, познакомившись с Цыгановым, вызвалась ему помогать. И много времени проводила она с техником, сколько сил хватило, делала. А когда удавалось-ладилось дело, с какою радостью рассказывала она о своей удаче репетитору брата - студенту своему, на которого, как на бога, смотрела. А студент ничего, серьезный студент, только улыбается и

благодарит.

И случилось однажды, сидела Женя у Цыганова, книжки подбирала для чтения фабричным, да книжки-то все такие были - листки. Она старалась, очень ей хотелось, поскорее чтобы прочитали те, о ком, она верила, что правда была в этих листках написана и выход указывался из жалкой их жизни, от которой у ней вся душа переболела, и торопилась, впервой было. И Цыганов тут же за одним столом с нею листки разбирал и не отходил от нее, спешил и тоже хотел, поскорее чтобы сделать все, дело опасное! И вот когда было все сделано, листки собраны, подобраны и разложены, и она довольная такая, радостная и поди думая, как студенту - богу своему о всем рассказывать будет, а студент поди уж кончает уроки с братом, а может, с отцом уж сидит в столовой за самоваром и в шахматы с отцом играет, заторопилась она скорее домой. Цыганов вдруг бросился на нее и повалил на пол.

В этот вечер, когда она вернулась домой и, как ей думалось, так и было, застала студента уж в столовой с отцом за самоваром - в шахматы играли, она ничего не сказала ни отцу, ни студенту и намеком не намекнула, что с нею у Цыганова только что случилось, словом не обмолвилась.

Ужас и стыд победили в ней всю ее правдивость, и она скрыла самое свое важное. Она молчала и, не умея представляться, была вся наружу, и все-таки никто ничего не заметил, и только заметил отец в ее лице какую-то грусть, какой раньше у нее не было. А уж много спустя и еще кое-кто заметил и кроме отца, но не все сказали, да и сказать не могли, так как не раз видя ее, может, в первый раз внимательно взглянули на нее, и не могли решить, всегда ли была эта грусть и только они ее не замечали или действительно перемена произошла.

Конечно, грусть эта всегда у ней была с рождения ее, грусть эта родилась с нею и все сем-надцать лет таилась в душе ее и только с того вечера, когда Женя у Цыганова листки разбирала да, разобрав, счастливая, радостная, уж думала, как расскажет студенту - богу своему о этой своей радости, только тогда вот из ужаса вышла на свет ее грусть.

И разве одна грусть легла на лицо ее, когда она на полу валялась да в животной боли и в отвращении и в ужасе криком кричала бы, если бы крик не сдерживала, ну разве только грусть лежала теперь на лице ее когда она молча и вся наружу мучилась?

Если бы люди вглядывались друг в друга и замечали друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно железное сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А, может быть, совсем и не надо было бы железного сердца, если бы люди замечали друг друга.

Но как все случилось, отчего случилось и как Женя сама себе все объясняла?

В первый вечер, в тот вечер Цыганов ослеп, другой какой-нибудь предумышленной причины не могло быть, просто ослеп.

И если бы он был о семи глаз, кто знает, не ослеп ли бы он и на все семь глаз от ее двух глаз, от того, как смотрела она радостная, готовая о радости своей сейчас вот передать студенту - богу своему, а радость ее была огромная, ведь ей впервой было и дело опасное, и поверила она, что нашла спасение той жалкой жизни, от которой у ней вся душа переболела и, наконец, она все исполнила.

Так сама Женя, не вина никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослеп он или не ослеп, не мог он на нее не броситься или мог и не броситься, но только Цыганов, занятый делом, которое приходится вести тайно и скрытно, должно быть, обезглазел от своей деловой подозрительности.

Да, конечно, безглазый, а почему - все равно; ведь, если бы он замечал хоть что-нибудь, не было бы того, что дальше было.

А было то, что всякий раз, когда Женя приходила к нему, разбирать ли листки или еще по каким делам такого же рода, чтобы помочь ему, всякий раз непременно повторялся тот первый опасный и радостный вечер

И просила она его, молила пощадить, не трогать ее, но он не хотел слышать, потому что ничего не слышал и ничего не замечал.

И так целый год.

А когда Цыганов куда-то исчез с фабрики от Плотникова одни говорили, что его в Сибирь сослали, другие, что он за Трехгорной заставой на заводе устроился и с большим окладом, а третьи, что объявил будто бы миру чуть ли не Новый Сион,- словом, когда Цыганова не стало и Женя было вздохнула, как точь-в-точь произошло то же самое и в другой раз, только на месте Цыганова очутился ее брат - юнкер.

И просила она брата, молила пощадить, не трогать ее, но он не хотел слышать, а не хотел слышать, потому что ничего не слышал и ничего не замечал.

А не слышал и не замечал он, потому что ослеп в ту минуту, а ослеп он, потому что в ней самой было что-то ослепляющее: ведь ничего общего не было в братнин вечер с тем цыганов-ским опасным и радостным вечером.

Так сама Женя, не виня никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослеп брат ее или не ослеп, но только не занимаясь цыгановскими делами, скрытностью дела и опасностью не загнанный в одну слепую подозрительность, напротив, имея перед собою открытый путь без осматривания, без настораживания, он, должно быть, как многие и многие люди всякого ремесла и дела, и мастерства, и страсти, не отличался глазастостью.

Да, конечно, не отличался глазастостью, а потому - все равно; ведь, если бы он замечал хоть что-нибудь, не было бы того, что дальше было.

А было то, что всякий раз, заставляя ее одну, он повторял все то же начатое им в свой сестрин вечер.

И так продолжалось с год.

А когда брат из Москвы уехал и она осталась одна и могла вздохнуть, помощник отца - молодой доктор заменил брата, как брат заменил Цыганова, а за доктором еще кто-то и еще кто-то: смело подходили к ней и делали то, что хотели.

А делали они то, что хотели, не потому, что лежало плохо, они делали все, на что их, слепых, бросало.

Так сама Женя, не виня никого и только себя, все объяснила.

Так это или не так, ослепли или не ослепли, бросало их или сами они бросались, но только никого из них она ни в чем не обвинила и одну себя, свою какую-то суть обвиняла, слепящую и оглушающую.

Она молчала, все три года молчала, ни намеком не намекнула, ни словом не обмолвилась.

А ужас был, и стыд был, и мука была.

Ее любили, и у ней было много подруг, и она знала, как ее любят, и думают о ней, и, правдивая, при всей своей правдивости, не могла сказать им, что ошибаются они, не такая она, как они думают о ней, ведь, зная всю правду о ней, они, возможно, и отшатнулись бы от нее, и вот, скрывая правду о себе, она крадет их любовь.

Люди подходили к ней и делали то, что хотели, они делали все, на что их бросало, и она не могла сопротивляться, уступала им с животным отвращением и болью.

И за то, что она уступала им и не могла не уступать при всем своем животном отвращении и боли, за какую-то свою суть слепящую и оглушающую, которая людей бросала на нее,- ей мало казни человеческий.

Покончить с собою было бы очень просто, но что из того, если она покончит с собой!

И если бы ее пытали и мучили и запытали и замучили до смерти, что из того, если бы ее замучили до смерти!

Ей мало казни человеческой, мало людской казни, сама она должна карать и казнить себя.

Но чем карать себя и как казнить?

За эти три года ужаса, стыда и муки своей, в ужасе, стыде и муке по ночам без сна уж волосы рвала она на себе и головою билась о железку кровати - девичьей своей кровати, но что взяла?

Ничего, ровно ничего.

Так кто ж ей укажет казнь и как ей казнить себя?

И она молилась со всею жгучестью ужаса, стыда и муки самосудившего сердца, просила бога указать ей казнь.

Если бы люди вглядывались и замечали друг друга, если бы даны были всем глаза, то лишь одно железное сердце вынесло бы весь ужас и загадочность жизни. А может быть, совсем и не надо было бы железного сердца, если бы люди замечали друг друга.

Женя уехала из Москвы и жила некоторое время под Москвою по Курской дороге в семье одного доктора, товарища отца ее Отец, теперь заметивший уж не одну только грусть, и, встре-воженный, приписывая все переутомлению, уговорил Женю проехать отдохнуть немного в деревню

И вот случилось уж в деревне: в Большой пост на Страстной неделе во вторник и вовсе не в Москву она поехала к отцу домой на праздники, как думали, нет, она в лес ушла и в лесу там со вторника молилась три дня и три ночи со всею жгучестью ужаса, стыда и муки самосудившего сердца, прося об одном - о казни, казнь указать ей и кару.

А в Великую пятницу на вынос плащаницы она появилась в церкви совсем нагая и только с бритвою в руке.

И когда понесли плащаницу, она пошла за ней - перед ней расступались, как перед плаща-ницей,- и она стала перед плащаницей нагая с бритвою в руке.

"Во имя Отца и Сына и Святого Духа!"

Кто-то ответил: "Аминь".

Тогда она подняла бритву и стала себя резать, полагая кресты на лбу, на плечах, на руках, на

груди.

И кровь ее лилась на плащаницу.

С год, не меньше, пролежала Женя в больнице, куда ее привезли тогда из церкви без памя-ти. От ее крестов примет явственных не осталось, так чуть заметный шрамик на лбу да и то под волосами не видно. И когда нашли, что она здорова, выписали ее из больницы и отправили к отцу.

Что ж, успокоилась она? Нет, не успокоилась. Но и о казни больше не просила. Где-то в глубине своей она замолчала. Бог знает, может быть, ее лечили чем-нибудь, или восстанавливаясь и здоровея, не могла она так чутко прислушиваться и услышать то, что в глубине ее говорилось. Но скоро она услышала и совсем неожиданно. Ходил к ее отцу бухгалтер с плотниковской фабрики, Маракулин Алексей Иванович, и, должно быть, Женя ему очень нравилась, и как-то он объяснился ей. И вот тогда-то и услышала она, что в глубине ее говорилось.

Ни одному ведь человеку не известно, за что же она казни себе просила, ни одному человеку не известны три ее мучительных года и четвертый год ее казни. Священнику на духу она ничего не говорила - она говорила мысленно под эпитрахилью, когда священник читал над ней отпущение после исповеди, сказать священнику она не решилась ему мало будет знать, что сама она делала,- ее грех, и он всегда может спросить о тех лицах, которые были с ней, и, может быть, видя ужас, стыд и муку ее и желая дать ей житейское утешение, разузнать захочет, как происходило все, и, узнав обстоятельства дела, их осудит, а ее оправдает, но она сама их ни в чем не обвиняла, она только себя винит, свою суть слепящую и оглушающую.

И вот теперь-то она все скажет человеку, который ее любит.

А надо все сказать, так в глубине ее говорилось, непременно надо все сказать человеку.

И она все рассказала без утайки.

Он слушал кротко и плакал,- он любил ее.

И в душе не веря, чтобы и еще раз то же с ней не повторилось, снова не вернулись бы те ее три года, он хотел верить, потому что любил ее.

Всю остальную жизнь свою Женя посвятила детям.

В первый же год своей новой жизни она сразу как-то состарилась, но это была вовсе не старость, а тот ужас стыда и муки, которые, как та грусть, вышли теперь на свет и лежали на лице ее.

А какая-то вспорхнутость глаз и руки, будто умоляет она пощадить, не трогать ее, осталась до конца ее жизни.

А в гробу лежала она с крестом - из-под венчика на лбу явственно виделся крест.

Маракулину было тогда десять лет, но он помнил крест, ее крест на восковом лбу из-под белого венчика.

И теперь, когда он ехал в Москву, он вспомнил этот крест, и воспоминание о кресте матери почему-то крепко и цельно слилось с тем золотым крестильным крестом его, который кто-то унес перед Рождеством.

И какая-то тоска хлынула на него.

В Москву Маракулин ехал по настоящему вызову Плотникова.

Павел Плотников с Маракулиным учился, но был младше его на два класса. Когда в первый раз увидел его Маракулин, ему очень Плотников понравился: это был здоровый мальчик, какой-то молочный весь и парной, и хотелось подойти и погладить его, потрепать так по голове и умыть, как зверушку, лимон сделать - взять крайними пальцами за щеку и постучать средними по носу тихонько, чтобы весь улыбнулся. В первый год у него болело горло, и белый платок-повязка делали его еще милее. Маракулин и заговаривал, и трогал его, и заигрывал со всею ласковостью, но Плотников дичился. И только на следующий год судьба их столкнула. Маракулин был певчим, и Плотникова выбрали в певчие и тоже альтом петь. На спевках Плотников очутился рядом с Маракулиным и уж понемногу перестал дичиться, напротив, привязался к Маракулину, который все для него делал: задача трудная, задачу решит, перевод трудный, переведет. И так целый год продолжалась их трогательная и нежная дружба. А потом вдруг как-то после летних каникул Плотников вырос и уж ничего не осталось в нем из того котятного и щенятного, что тянуло Маракулина: просто подойти и погладить его, как зверушку.

И уж Маракулин не так стал возиться с ним, так ласково по-прежнему не говорил с ним, продолжая, впрочем, все делать для него, что только мог. А Плотников часто обращался к нему и притом, как к старшему, знающему такое, до чего ему самому, кажется, в жизнь не дойти.

Училища Плотников не кончил, в пятом классе застрял, его и взяли. Плотников - единст-венный сын и притом последыш после бесчисленных сестер и в деле надобный, а плотниковское дело на всю Таганку - на всю Россию известно. Ко времени своего злополучного окончания - в пятом классе он так раздобрел и так разросся, трудно было представить себе, глядя на него, того приготовишку Пашу с белым платком, молочного и парного Пашу, которому хотелось лимон сделать. Всякие отношения, кажется, должны были прекратиться, но этого не случилось. Плотников заходил к Маракулину и всякий раз заходил за книжкой, книжку просил дать почи-тать, и всякий раз чего-то словно робея. Маракулин давал книжку, и он надолго пропадал. И совсем неожиданно опять являлся и в час совсем неурочный, рано утром, и нередко в таком возбужденном виде, словно бы, начав вечер с таганской пивной и пропив полночи в каком-нибудь Саратове, а до утра у Яра, и обмывшись затем в пятикопеечных Полуярославских банях, из бань прямо и являлся, только без веника, что, как потом оказалось, и бывало на самом деле. Он робко возвращал книгу, робко заявляя и всегда одно и то же, что не одолел и ему надо попроще. Маракулин давал другую книжку попроще, и Плотников снова пропадал надолго.

В училище в последних классах была сбродная компания, объединенная, должно быть, тем самым, что связывало Маракулина с Готовым. Тут были всякие головорезы и тянущиеся за ними потаковщики, и все, кому надо развернуться, из которых впоследствии вышли и самые заправские дельцы и обыкновенные служащие, а кое-кто, спившись, кончил на Хитровке. Компания эта была завсегдаем таганской пивной, московских бульваров, а в воскресенье летом - Кускова, в Кусково обычно перекочевывает на лето Таганка и Рогожская. В этой компании участвовал Маракулин. Случалось иногда, присоединялся и Плотников.

Плотников, пивший до протокола, и однажды, одетый так легко, что уж в более легком виде с улицы прямо в часть убирают, вступил на Таганской площади в ратоборство с ломовыми лошадьми, буйный и несговорчивый, напившись до дыму, для препровождения времени мог выкинуть все что угодно и без всякого разбору, никем и ничем не стеснясь Так все и знали. И только одно было исключение - для Маракулина.

Маракулин в крайних случаях мог даже унять и разговорить безудержного непочатого

Плотникова.

Павел Плотников непочатостью своей и умением выкинуть для препровождения времени любой выверт весь был в отца своего Василия Павловича, а Василий Павлович по этой части первый был деятель в Таганке и деятелен заразительно: имел последователей и не мало. Только Василий Павлович буйным никогда не был, хоть не только пяти, а и одного класса нигде не кончил, и нигде на Таганской площади ни с людьми, ни с лошадьми не вступал в ратоборство, напротив, тих был и кроток и рюмки в рот не брал. В последние свои годы на старости лет, когда уж нового ничего Василий Павлович изобрести не мог и сам хорошо сознавал свою поконченность, вздумал он для препровождения времени заняться спаиванием околodочных пришла ему сумасбродная затея поставить всю полицию не на ноги, как говорится, а вверх ногами. И повел он это дело с большим искусством, добиваясь своего всячески, не мытьем, так катаньем: не сам, так по приказу его. А удочкой, приманкой была карета - самая обыкновенная, ничем не замечательная карета и даже без герба - в Таганке гербов по званию жителей не полагается. По утрам Василий Павлович обыкновенно садился у окна и стерег околodочного, который около этого времени шел мимо дома в часть. Околodочный зазывался в дом, будто по делам, - конечно, дел никаких не было, вести дела с полицией избегали, но так и совсем пустяки какие-нибудь на случай всегда находились, а пока что Василий Павлович предлагал посмотреть карету и так предлагал, что больше упрасивал. И польщенный околodочный следовал за ним в сарай, а в сарае уж все требуемое было готово, и выпускался околodочный из сарая не иначе, как без задних ног - вверх ногами. На другой день то же самое, полегоньку да потихоньку и доводил до того, что околodочный, забывая всякий обход, с утра сам уж являлся в сарай карету смотреть, и, конечно, такого околodочного из полиции скоро выгоняли, на его место назначали другого, а с новеньким начиналась та же самая каретная история. А по примеру Василия Павловича, заразившись его деятельностью, рыбак Барабохин в то же самое время спаивал попов, и удочкой Барабохину служил садок, самый обыкновенный рыбный садок, и вовсе не для держания какой-нибудь головоломной не существующей рыбы вроде той заграничной, имя которой не выгово-ришь, а простой стерляжий садок. И карета и садок действовали с необычайным успехом и порядочно времени, пока не надоело. Таков был Василий Павлович, оставивший после себя достойного наследника Павла. Вместе с каретой получил Павел Плотников от отца своего и всякие затеи для препровождения времени, и таланта не зарыл, а преумножил. Уж что взбрeдет ему в голову, не сделав, не успокоится, а взбрeдало ему в голову разное и такое, чего побаивались. Но он никогда ничего не позволил себе, что хоть чем-нибудь затронуло бы Маракулина, - Маракулин исключение. Так все и знали.

Трижды Плотников принял самое горячее участие в Маракулине: в первый раз ограждая, в другой раз устраивая и, наконец, в третий раз выручая.

Ограждение заключалось в том, что Плотников отвадил от Маракулина Стракунова, избив Стракунова всенародно и не без внушения. Был в Таганке такой Сашка Стракунов - из прола-зов, черт знает на что жил, чем только не брезговал! Как-то втерся он в кусковскую компанию и чем-то понравился Маракулину - чем может такой нравиться, одному богу известно - да и сам Маракулин не сказал бы толком, что его к Стракунову повлекло. Так, цыганского отродья, крив-лявый, только всего и есть. Стракунов Сашка обдирал Маракулина, как Сидорову козу, и все, что было у Маракулина с уроков получено, все на него шло. Так с месяц вертелся. Узнал об этом Плотников и не замедлил - оградил.

А после окончания училища, почти тотчас после экзаменов, не прогуляв и недели, Маракулин уже поступил в контору на Кузнецком, и все это устроил Плотников.

Вечера летом проводились на бульварах. Как-то на Чистых прудах на четверговой летней музыке Маракулин познакомился с одной Чистопрудной Полей. Поля, появлявшаяся на бульва-ре лишь в сумерки - рогожская, жила в Вокзальном переулке. На Чистых прудах она известна была как Поля, но Дунаев, познакомивший Маракулина с Полей, звал ее Дуней, и

Полянский звал ее Дуней. Дунаев и Полянский - одноклассники Маракулина, оба таганские, кусковской компании. А скоро и для Маракулина Поля стала Дуней. А произошло это знакомство вовсе не потому, что Маракулин непременно бы этого добивался, нет, повод - другое, сущие пустяки. На Пасхе как-то был Маракулин в гостях у Полянского и в самом обыкновенном разговоре о товарищах,- время было перед выпускными экзаменами,- поспорил с Полянским о Дунаеве "Да ты просто влюбился в Дунаева,- заметил Полянский и улыбнулся особенно так,- на барышню он похож, ты и заступаешься". А Маракулин покраснел весь, и ему стало неловко тогда и за то, что Полянский улыбнулся так, и за то, что сам он почувствовал, как покраснел весь. И разве он оттого только и заступался за Дунаева, что Дунаев на барышню похож? С этого и началось. Дунаев, похожий на барышню, был свой человек на всех бульварах и в знак ли своей товарищеской признательности или так вообще - в таких делах и так вообще может быть большим основанием, предложил Маракулину познакомиться с Полей. А у Маракулина не выходил из головы Полянский, а главное помнил Маракулин, как улыбнулся тогда Полянский, и теперь он схватился за это знакомство: уж Полянский больше так не улыбнется. Вот какие были сущие мальчишеские пустяки! И в один из Чистопрудных четвергов вечером знакомство состоялось. Дуне Маракулин сразу понравился. И уж с первых же дней знакомства она грубо это высказывала перед Дунаевым и Полянским. А как-то ночью в Вокзальном переулке, провожая от себя Маракулина, она проворно спустилась с лестницы, чтобы отпереть ему дверь, и, когда он ступил на последнюю ступеньку, загородив двери, крепко обняла его и, обняв крепко - руки у ней стали вдруг снова, как детские,- сунула ему в карман платок с его меткой, вышитой крестиком, шелковый и надушенный не теми духами, какими обыкновенно душилась, выходя в сумерки на бульвар, а другими. Но с той ночи чем больше Дуня привязывалась к нему, тем все дальше относилось его. И к концу лета ему уж невыносимы стали и засматривания и выслеживания ее, не было уж места, где бы скрыться от нее. Она отставала от бульварной жизни, наряжа-лась, душилась не бульварными, другими духами, и для нее это был подвиг, потому что тратить на наряды без бульварной жизни, существуя только бульваром, невозможно. А она и не нарядная теперь, обыкновенная, если бы хотела, пошла бы в гору, какая-то необыкновенная про это все говорили и ее знакомые - бульварные и ее приятельницы - бульварные, про это говорил и Дунаев и Полянский. И знал это Маракулин, ведь руки ее в ту ночь стали вдруг, как детские,- но что ему делать? Платок ее, а он его не вынимал из кармана с той ночи и забыл бы, если бы не чувствовал его, платок ее с его меткой, вышитый крестиком, шелковый тянул какой-то тяжес-тью, словно чугун, не шелковый, и оставалось одно или сжечь, или бросить в Москву-реку. И он бросил его в Москву-реку. Был конец августа, последние кусковские гулянья, и уж Таганка и Рогожская повертывали оглобли в свою Таганку и свою Рогожскую, последний воскресный вечер, холодный и звездный. Театр кончился, и вокзал был полон народу. На платформе гуляла Дуня. И Маракулин подошел к ней и заговорил со всей накипевшей, долго сдерживаемой злобой, не дожидаясь ответа и не давая ответить, и, сразу оборвав, отошел прочь. И теперь ему казалось, что он все исполнил, больше она не подойдет к нему, и ему больше нечего делать, и больше ему ничего не надо! К Дуне подошел Полянский, и они гуляли на платформе. И, порав-нявшись с Маракулиным, Полянский что-то сказал ему, но так тихо, не разобрать слов, и только улыбку заметил Маракулин, ну точно такую же, как тогда, на Пасху. И вот, когда снова Маракулин увидел их и еще так далеко - на конце платформы, он почувствовал какой-то жгучий упрек, и чем ближе были они, тем упрек сильнее и жгуче, а с упреком стыд. И когда они снова поравнялись с ним - он стоял на самом виду - когда очутился он с нею лицом к лицу, он больше не мог вынести жгучести укора и стыда своего. И низко поклонился ей до самой земли - в ноги. И тут произошло что-то молчаливое, но, должно быть, такое жуткое, отчего бросились все в сторону и поднялась суматоха. Между тем подходил поезд, все тряслось, и ветер свистел, а Маракулин, поднявшись с земли и видя, как какой-то полицейский, пристав что ли, куда-то тащит Дуню за руку, тоже затрясся и только слыша, как резко над ним, близко ветер свистит, ударил пристава. А на самом-то деле пристава ее никуда и не тащил, и не случись пристава, ее раздавило бы поездом, но это после узналось, когда уж поздно было. Вечером на следующий день в Таганскую часть, куда перевезли Маракулина из Кускова, в камеру к нему явился

Плотников и совсем неожиданно и чего-то робко, как когда-то за книжкой, и как-то робко сказал ему, что завтра утром выпустят его. Действительно, наутро выпустили Маракулина и без всяких. Так выручил его Плотников. И это было последнее свидание с Плотниковым.

Припоминая до мелочей все московское, всю ночь не заснул Маракулин и только совсем уж близко где-то около Подсолнечной забылся на минуту, и ему приснился сон.

Ему снилось, будто подходит к нему Павел Плотников и робко говорит ему:

"Самое лучшее, самое рациональное, самое психологичное для твоей жизни, если тебе отрезать голову!"

А Маракулин будто отвечает:

"Как же так без головы я буду, ведь без головы быть это же страшно?"

"А что поделаешь!" - возражает Плотников и начинает убеждать его, что больно не будет, а самое большее, что может быть, чудно и странно.

И хотя убеждает он как-то по-своему робко, но и возражений не допускает.

"Ну, режь!" - соглашается Маракулин.

И Плотников берет бритву и начинает ему резать шею, и действительно, ни чуточку не больно, а уж голова совсем запрокинулась, так, на ниточке держится.

"Еще одно маленькое решительное движение, и голова будет прочь отрезана",- говорит Плотников, чиркая бритвой.

И голова падает на пол.

А Маракулину будто и без головы все видно: он видит, как упала его голова и покатила по полу и куда-то исчезла, и в то же время из горла широкой струей, выбивая вверх - прямо в потолок, хлынула густая вишневая кровь. Весь пол залит, и весь он в крови, живого местечка нет. А потом будто кровавый вишневый фонтан ослабевать начал, все тише, не брызжет кровь, и уж скоро не стало крови, и лишь маленькая струйка вилась по жилетке к полу.

И подходит будто Маракулин к зеркалу и безголовый, а смотрит на себя в зеркало, и чудно и странно ему кажется нет головы,- одно горло красное.

"Как же это я без головы буду?" - плюнул он и проснулся.

* * *

Сон оказался в руку: чудно и странно было то, что случилось.

У Плотникова уж поджидали Маракулина.

Фомич, старый артельщик прямо повел его к самому в кабинет.

Кабинет был разделен на две половины, на два отдела: с одной стороны копия с нестеровских картин, а с другой две клетки с обезьянами.

Между Святою Русью и обезьяной сидел Плотников, обуянный запоем, и зачем-то весь медом измазан, в какой-то гнетущей печали скитника.

На столе валялись порожние бутылки - и под Святою Русью бутылки, и около обезьян бутылки.

"У него головы нет, рот на спине, а глаза на плечах. На Святках накинулся он на мед, и ел его с воском, и съел его много, и оттого завелась в нем пчела - целый улей. Он - улей. И ему страшно - на сладкое падки! - и ему страшно - съедят его, перегубят всех его пчел, разорят его улей, съедят его! А летом, как только появится первая муха, он займется эксплуатацией мухи в качестве двигательной силы. Вся Россия будет разделена на отделы с мушиным наместником на каждый отдел, наместники с генерал-губернаторскими полномочиями будут заведовать мушиным сбором, и в особой автоматической упаковке на бронированных автомобилях муха будет доставляться со всех концов России прямо в Москву в Таганку. Русская муха победит пар и электричество, Россия сотрет в порошок Англию и Америку. У него головы нет, рот на спине, а глаза на плечах. Он - улей. Русского языка он не понимает и по-русски не говорит".

- Мне твоего слона не надо! - сказал Плотников, свысока пьяными глазами обводя с ног до головы Маракулина, и притом выругался с таким исто русским коленцем, такие чертежи пустил, что уж от звучности и крепости родной речи у самого глаза на лоб вылезли.

Маракулин стоял между Святою Русью и обезьяной и ровно ничего не мог понять: ни о диковинном русском мушином двигателе, ни о улье, ни о слоне, и было чудно и странно.

А молчание его уж начинало, видимо, раздражать Плотникова. Плотников вышел из своего гнетуще-печального состояния скитника и фырчал.

"Русского языка он не понимает и по-русски не говорит С помощью северноледовитоокеан-ского флота Россия, раздавив Европу, двинется за Лапландию на полюс и займет не только полюс, где живут рыбы с поджаренными боками, а и все, что за полюсом, никому не известное - обиталище Гога и Магога, и будет это неизвестное, Гог и Магог, зваться Ландия, сиречь страна. Там, из этой заполюсной Ландии, пользуясь даровой всероссийской мушиной силой, как двигателем, будет Россия - он, Павел Плотников, самодержавно управлять земным шаром, вращая его по собственному произволу, то влево, то вправо, то остановит, то пустит".

- Прохвост,- крикнул вдруг Плотников,- твои слоны мятные, говорят тебе, мятных слонов я не покупаю! - и, схватив со стола бутылку, поднялся, красный, измазанный медом, всклокоченный, с разинутым ртом, как пастью, и, покручивая бутылкой, стал прицеливаться.

Маракулин стоял между Святою Русью и обезьяной и ровно ничего не мог понять: ни о северноледовитоокеанском флоте, ни о Гоге и Магоге, ни о Ландии, ни о вращении земного шара по произволу,- и было чудно и странно.

И вдруг бутылка как-то робко скользнула на пол и раздался неистовый звериный вопль, истощнее всякого помогите, и все стены словно треснули, заколебалась Святая Русь, шарахнулись обезьяны, и что-то ахнуло по углам и загудело по дому.

Плотников, в своем месячном жестоком запое, без головы, со ртом на спине и глазами на плечах, Плотников-улей, ни слова не понимавший по-русски и ни слова не говоривший по-русски, узнал Маракулина.

- Петруша, хвост-прохвост...- Завязая в словах и крутя головою, как хоботом, топтался он перед Маракулиным и растопыривал, словно щупальцы, волосатые руки, и култыхало его и шатало его, как какой-нибудь северноледовитоокеанский броненосец: - Петруша, хвост-прохвост?

И, шатнувшись к дивану, грохнулся он всем своим огромным забронированным, Гогу и Магогу подобным, непечатным плотниковским телом и загудел ульем между Святою Русью и обезьяной.

Два молодца, дежурившие у дверей, подхватили Маракулина под руки и чуть ли не вынесли, ровно клад, из кабинета в гостиную.

А навстречу Маракулину подвигалась с палочкой сухонькая старуха, мать Плотникова, сама Евдокия Андреевна.

- Исцелил ты его, батюшка! - только и могла выговорить старуха и, перекрестившись большим старым крестом, выронила палку, согнулась к земле.

Какие-то темные старухи бросились было со всех сторон ей на помощь, но она не хотела подняться.

И только Маракулин успокоил старуху.

Двое суток без просыпу, гудя ульем, спал Плотников. Тишина стояла в доме, словно бы, кроме его,- его улья, не было больше в целом доме ни одной живой души.

И за эти два дня никуда не выпускали Маракулина, ухаживали за ним, пичкали его, но дверь под замком держали.

Разговор шел о несчастном Паше, о его несчастье, как Паша, измазавшись медом, призна-вать никого не стал, и в лицо не узнавал, и даже мать родную за слона рогатого принял, за какого-то мятого, мятного зверя, и Фомичу пристрелить распорядился, и как потом в несчаст-ном бреду своем Маракулина кликать принялся жалобно, ровно кошка, котят у которой отняли.

- Вспомнила я тогда,- рассказывала Евдокия Андреевна,- как, бывало, еще к делу обывать Паше, принесет, бывало, книжку, скажет, у Петруши был, у Петра Алексеевича, счастье принес! Уверовал он в тебя, батюшка, с малых лет уверовал. Думаю себе: один ты целитель жестокого злого недуга его и несчастья. Воскресенского батюшку, отца Семена, покропить просили, не допустил, мятным зверем обозвал, на Хапиловку везти хотели, к братцу Иванушке, разговору не слушает. Николаю Федоровичу доктору спасибо, надоумил за тобой послать. Исцелил ты его, батюшка! - И крестилась старуха большим старым крестом и низко кланялась.

- По самоустению нечистого дьявола, аки лютый зверь! - шептали из углов темные старухи.

А Евдокия Андреевна все крестилась и кланялась низко.

На третьи сутки проснулся Плотников и, как ни в чем не бывало, поехал в город и только вечером благополучно домой вернулся.

Вечером потащил Плотников Маракулина в трактир к Лаврову.

Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина. Плотников все вспоминал и училище, и учителей всех, и Чистые пруды, и Кусково, вспомнил даже окрошку, какую-то особенную лавровскую окрошку, которую любил Маракулин. А от машины тоскливо было не вернуть хотелось старое - прошлое было тут все, как на ладони, а как-то не понима-лось, зачем оно было и неужели только для того, чтобы вспомнить.

И, заглянув в потайные уголки своей жизни, Маракулин понял, что, в сущности, и перемене-ны-то никакой не произошло, точно то же и думал он и чувствовал тогда, хотя бы за особенной лавровской окрошкой только смутно, только тихо, с случайными вспышками ясности, впрочем, разве изменяются люди!

Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина.

- А я с твоим Аркадием Павловичем, с приставом, уж больно ты, Петруша, зря его тогда обидел, вон там мы с ним...- Плотников показал в сторону отдельных кабинетов и, крикнув, похлопал себя по карману,- пятьсот рублей просил за мировую, и все эта твоя Феня!

- Дуня! - поправил Маракулин.

- Дуня, Феня, все равно. Пойдем, брат, к Аркадию Павловичу, вот обрадуется-то! Ему, знаешь, за Московское восстание крест дали, настоящий, и на Тверскую перевели, вот обрадуется-то! А знаешь, Петруша,- Плотников наклонился и заговорил совсем тихо,- я в тебя, Петруша, как в бога верую, и не ладится, бывало, в делах что, только о тебе думаю, имя твое произнесу громко, смотришь, все опять по-старому. И думаю так, придет конец помирать мне придется, а я тебя возьму и покличу, ты придешь, и смерть мою отгонишь, кошкой паршивой замячу, и опять человеком сделаешь. Так-то, Петруша, вот как я о тебе думаю.

Сидели они в левом зале в углу, как прежде, и, как прежде, играла машина.

И странное дело, вспоминая старое, даже о какой-то особенной лавровской крошке, кото-рую любил Маракулин, и в вере своей признаваясь, Плотников не любопытствовал и ни разу даже не заикнулся спросить, как живет Маракулин, а еще страннее то, что, не спуская глаз с Маракулина, казалось, видит Плотников совсем кого-то другого - не Маракулина, кого бог знает.

А может быть, видел он и как раз не такого, чтобы о каких-то делах спрашивать и любопыт-ствовать. Ведь у Иверской о делах не спрашивают!

И было чудно и странно.

Еще день прожил Маракулин у Плотникова. Плотников возил его на Ильинку в амбары, потом в Тверскую часть к Аркадию Павловичу, которого, к большому огорчению Плотникова, в части не оказалось, а вечером проводил на вокзал.

И на прощанье еще раз повторил, что верует в него как в бога, и помирать будет, а увидит его, с одра смерти встанет, замячит паршивой кошкой, и опять в человека обратится.

Уже в вагоне ночью за Клином Маракулин вдруг спросил себя, не снилась ли ему Москва?

Все было чудно и странно: и то, что Плотников верует в него как в бога, и то, что таскался он зачем-то на Ильинку в амбары и даже к приставу в Тверскую часть, к Аркадию Павловичу, а на Калитниково, на кладбище, не прошел.

А ведь ему непременно надо было пройти на Калитниково, постоять у могилы, ну, хоть только постоять, только взглянуть, взглянуть и проститься.

И какая-то тоска хлынула на него.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

День с утра бегала Вера Николаевна по своим массажам, а вечера просиживала за учебни-ками готовилась она на аттестат зрелости и, не оставляя заветной своей мысли, во что бы то ни стало, хотела поступить в медицинский институт.

Занималась с Верой Николаевной Анна Степановна, дела у которой в ледневской образцо-вой гимназии шли неважно.

Леднева - начальница гимназии пока что, в виду каких-то таинственных обмундировоч-ных, выдавала ей жалование из своих - из собственного кармана, сопровождая свою щедрую ссуду излюбленными рассуждениями своими о добрых делах вообще, об упадке

нравственности и о безнравственности и о жертвах своих она сама в своей собственной гимназии бесплатно уроки давала!

По рассказам Анны Степановны, одному богу известно, что творилось в гимназии. Сумбур стоял образцовый в образцовой гимназии. И не то, чтобы подобралась одна вольница, ремень-ребята, нет, не в шалостях дело, а в том, что ученицами, как доходной статьей, дорожили, и такое отношение детьми прекрасно оценивалось. Конечно, никаких воздействий не полагалось, и отметки надо было подгонять такие, чтобы родителям не пришло в голову взять свою дочь от Ледневой и отдать в другое училище. Кроме того, сама Леднева-начальница действительно давала уроки и не только учила, но и любила присутствовать на уроках, проверяя вопросами своих даровых учителей. И выходило все далеко не по программе, и совсем не по тем учебникам, которые министерство, одоблив утвердило:

так в Великую французскую революцию действовали вовсе не Робеспьер и Марат, как учить принято,- что Робеспьер и Марат! - действовал Гуго Капет и погибал за свои злодеяния с королем Людовиком.

Образцовый сумбур завершался образцовой теснотой и холодом в образцовой гимназии. Холод был самый настоящий крещенский: печей никогда не топили и не только в классах, что требовалось последним словом гигиены, но и в учительской. Правда, кажется, дети особенного лишения не чувствовали: дети прыгали, бегали, танцевали - сущий содом стоял в гимназии, но учителям как-то не совсем удобно было содом подымать, втихомолку содом не подымешь, а шуметь непристойно. На все же заявления у Ледневой-начальницы один ответ был:

- Это еще что,- говорила начальница,- вот вы посмотрели бы в карасевской гимназии да побывали бы в спасской, там вот действительно холод!

Ответ Ледневой переносил Анну Степановну из Петербурга в родной Пурховец, напомнив ей пурховецкого инспектора народных училищ знаменитого Образцова.

А этот знаменитый Образцов какой-то стороной своей доводился Ледневой ни больше ни меньше, как единокровным и единоутробным братом.

Раков-историк отзывался о нем весьма почтительно. По словам Ракова, живи Образцов в древней истории, имя его обязательно начертано было бы в числе прочих изречений в каком-нибудь Дельфийском храме, а голова украсила бы вершину афинского Парфенона. И Раков-историк не ошибался.

Но если имя знаменитого пурховецкого инспектора следовало вписать в числе прочих изречений в каком-нибудь Дельфийском храме, Ледневу-начальницу, обладавшую великим искусством не тратить ни копейки из своего кармана и ловко проводившую за нос не только своих изголодавшихся учителей, но, как говорили, и само министерство, Ледневу следовало почтить куда познатнее.

Проходила зима. Вместе с снегом уж тая, расползалась черная гора на Бельгийском дворе. Наступала весна с своей Пасхой.

* * *

Невесело встретили Пасху, как невесело прошло Рождество.

Василий Александрович клоун выписался из больницы, поджила у него пятка, но все-таки прежнего нет, не вернуть, пятка уж не такая, и стал он вроде как без пяток пройдет на угон Гороховой до газетчика и обратно только и всего.

Вере Николаевне вместо экзамена на аттестат зрелости доктор посоветовал, не теряя минуты, куда-то в Абас-Туман отправляться: с легкими что-то не очень-то ладное оказалось - скрип какой-то у ней и шип в легких.

Анна Степановна от образцового ледневского порядка просто с ног валилась и все только улыбается, все улыбается своею больной страшной улыбкой.

На Пасху на Бурковом дворе все было, что бывало из году в год на большие праздники с тех самых пор, как на Фонтанке Бурков дом стоит: случаи, происшествия, скандалы, драки, мордо-бой, караул и участок, но всё в высшей степени и громче будничного.

У акушерки Лебедевой опять покража случилась, но уж не шубу зимнюю меховую украли, а тридцать два рубля, скопленные на шубу,- в чулке деньги лежали в запертом комод, чулок остался, а денег не разыскали, как в печке сгорело. Опять винили швейцара Никанора, что недо-глядел, а где Никанору углядеть: он и день на ногах и ночью вставай на звонки, так круглый год. Конечно, умный вор - свой, ничего не поделаешь!

Пекарь Ярыгин из бурковской булочной, нахристосовавшись в первый день, залег вечером на доску спать над квашнею да во сне, зная, перевернулся неловко и упал в тесто, да за ночь-то его и засосало, хватились наутро, а уж только одни ноги из квашни торчат,- хороший был пекарь Ярыгин!

Станислав-конторщик и Казимир-монтер, вздумав поразвлечься, шутки ради подпоили Еркина-паспортиста. А Еркин, строго соблюдавший свой новогодний зарок братцу не пить водки, от долгого воздержания, хватив стакан злой перцовки, взбесился и полез в драку - и все это среди бела дня на дворе в то время, как в углах девицы в черных платочках и монашки-сборщицы в сапогах откалывали Горбачеву Христос воскрес из мертвых. Казимир-то ускок-нул, а Станислав попался, сгрел его Еркин да на землю, ущемил, придавил коленкой, хапнул и откусил нос, а случившийся тут же на дворе рыжий губернаторский пес Ревизор откушенный Станиславов нос съел.

Сам Бурков, бывший губернатор, самоистребитель, возвращаясь в первый день Пасхи из каких-то важных гостей, забыл на извозчике яйцо и спохватившись только наутро, заявил полиции о розыске пасхального извозчика с этим, должно быть замечательным яйцом, о чем оповестили на третий день все петербургские газеты.

И на третий же день бурковские ребятишки, играя в военный суд, приговорили швейцарова Ванюшку, Никанорова сына, к смертной казни через повешение и приговор привели в исполнение: потащили мальчишку в каретный сарай и там на вожжах вздернули. Едва отходили, хлюп-кий мальчонка, уж посинел и язык высунул, чуть не задохнулся.

Наконец и совсем непредвиденно муж и жена Ошурковы покончили самоубийством. И никто по двору понять не мог, с чего бы им кончать с собой и десять комнат - квартира, и все десять комнат всякими вещами изнаставлены, и аквариум с рыбками.

"Хорошие были господа!" - в один голос говорила прислуга, кухарки и горничные, никогда подолгу не державшиеся из-за этих разных вещиц у Ошурковых.

Вскоре после Пасхи как-то на Фоминой Сергей Александрович, заключив с театром условие о поездке за границу, зашел вечером к Маракулину чаю попить. К чаю подошла и Вера Николаевна и Анна Степановна, пришел с палочкой и Василий Александрович клоун.

Разговор шел о дамаскинской театральной заграничной поездке, в которой сам Сергей Александрович видел чуть ли не спасение России.

По его словам, Россия, задыхающаяся среди всяких Раковых, Лещевых, Образцовых,

Ледневых, Бурковых, Горбачевых и Кабаковых, впервые своим искусством покажет себя городу великих людей - сердцу Европы - Парижу и победит.

- Чего в самом деле,- сказал Сергей Александрович, расходившись, как на каком-нибудь театре,- все поедем, всем за границу надо, хоть на месяц, на неделю, все равно, только взгля-нуть и от всей этой бурковщины освежиться, и тебе, Василий, мы тебя дотащим! и вам, Вера Николаевна, забудете Абас-Туман!

- А на какие мы деньги поедем? - улыбалась Анна Степановна.

- Как на какие деньги?

- Куда уж нам за границу,- заметила Вера Николаевна.

- Через край, брат, хватил с своим Парижем, вот что!

- Я достану денег,- сказал Маракулин, вспомнив вдруг о Плотникове,тысячу рублей достану! - И сказал это Маракулин с такой верой и так твердо, что все ему поверили, и о деньгах уж больше не было разговору.

Вопрос был решен! все едут за границу в город великих людей - в Париж.

Голова у всех закружилась Строились предположения, и в предположениях развивались всякие подробности и с таким жаром и верою, словно бы с этой поездкой за границу действи-тельно связано было спасение России - их спасение, и стоит им только переехать границу, так оно и начнется.

Там, где-то в Париже, Анна Степановна найдет себе на земле место и подыметя душою и улыбнется по-другому.

И там, где-то в Париже, Вера Николаевна поправится и сдаст экзамен на аттестат зрелости.

И там, где-то в Париже, Василий Александрович снова полезет на трапецию и будет огоньки пускать.

И там, где-то в Париже, когда Сергей Александрович, танцуя, побеждать будет сердце Европы, найдет Маракулин свою потерянную радость.

- Верочку бы отыскать,- схватился вдруг Маракулин,- Верочку бы взять с собою, чтобы и она там, в Париже, нашла свое: или сделается великою актрисой и отметит Анисиму, или пусть лучше явится к ней успокоение, мир сойдет на нее, уймется месть, и просто она простит ему.

И когда он сказал об этом, все согласились, что надо взять и Верочку.

- А я Верочку встретила,- сказала Вера Николаевна,- в Москве вы тогда были, иду я вечером домой по Гороховой, бежит мне навстречу, а холод такой, метель поднялась, сама в одной кофточке летней, косынкой белой повязана. "Верочка!" - окликнула я. Остановилась она, посмотрела, да как-то так на меня посмотрела, дрожит вся. "Верочка, говорю, пойдемте чай пить, к нам чай пить!", а она поправила косынку, дрожит вся, да головой так сделала. На Семеновском мосту, а холод такой, метель поднялась .

Письмо к Плотникову в тот же вечер было написано и утром отослано заказным в Москву Маракулин верил, что придут деньги, верил в Плотникову тысячу, как сам Плотников верил в Маракулина.

Адония Ивойловна между тем на богомолье двинулась,- поехала она в Иерусалим, где демьян-ладон вон не выходит и горят свечи неугасимые:

там омоется она в Иордан-реке, оботрется плакун-травой, и спадет с нее, как еловая кора, все ее горе - горесть вся и слезы, уразумеет она корабли Парашины, и не будет земля уходить и обваливаться на могиле мужа ее на Смоленском.

Свободная по вечерам, Акумовна гадала, и выходила всем большая перемена и дорога, а Маракулину, кроме того, трава и елки, как тогда перед Москвою, только елки эти совсем близко были и не по краям - они лежали у Веры Николаевны.

- Веселая дорога! - шептала Акумовна.

- В Париж едем, Акумовна, в сердце Европы.

- А не взять ли нам и Акумовну, согласна Акумовна за границу в Париж с нами? - подмигнул Сергей Александрович.

- Что ж, и поеду, девять лет воздухом не дышала, воздухом подышу! - не заставила себя упрашивать Акумовна, готовая, пожалуй, за Сергеем Александровичем не только в Париж, а и на край света пешком идти.

- Ну вот и отлично, оставим рабыню Кузьмовну квартиру стеречь, и прощай, Россия. Надо от всего отряхнуться!

И, уж больше не выдержав, от прилива, что ли, чувств своих и надежд на успех России, на ее победу самого сердца Европы, Сергей Александрович так затропотал ногами, как петух крыльями.

- Верушку прихватить бы заодно, погибнет, бесстыжая! - вспомнила Акумовна о своей Вере, давным-давно погибшей на Бурковом дворе.

- И Верушку твою прихватим, все за границей будем.

Акумовна любовно раскладывала карты на Сергея Александровича.

- А наш Турийрогский батюшка хороший был, великий покаянник, отец Арсений,- вспомнила вдруг Акумовна,- перед смертью своею встал и спрашивает: "Готовы ли лошади?" - "Какие, батюшка, лошади?" - "Да ведь я, говорит, только что молодых повенчал, на свадьбу меня зовут за границу ехать!" Да и помер.

- Поп попом и помрет! - усмехнулся Сергей Александрович, следя за картами.

А Маракулин почувствовал, что где-то дрогнуло в нем, словно сломилось что-то, но надежды встряхнули, выпрямили.

Все надежды были на Плотникова, и ни о чем другом не думалось.

Надежды были силами.

* * *

Пришел май, белые палатки поднялись на Бельгийском дворе, навезли во двор кирпичей и песку, начался ремонт дома, а по вечерам, заливаясь, забренчала балалайка - этого не русского убогого добра на Бурковом дворе вволю, и уж, примостившись на подоконниках, стали высываться заморенные за зиму и взъерошенные головы, в надежде, должно быть, погреться весенним майским солнцем.

А от Плотникова не было ответа.

И в душу Маракулина закрадывалось жуткое беспокойство, только и сам он себе признаться в

этом боялся и никому не говорил.

Ответ придет, должен прийти!

Они должны и они будут за границей в городе великих людей, в сердце Европы - Париже.

Там, где-то в Париже, Анна Степановна найдет себе на земле место и подымет душой и улыбнется по-другому.

И там, где-то в Париже, Вера Николаевна поправится и сдаст экзамен на аттестат зрелости.

И там, где-то в Париже, Василий Александрович снова полезет на трапецию и будет огонь-ки пускать.

И там, где-то в Париже, когда Сергей Александрович, танцуя, побеждать будет сердце Европы, найдет Маракулин свою потерянную радость, Верочку отыщет.

И там, где-то в Париже, Верочка делается великою актрисой, и мир сойдет на нее.

И там, где-то в Париже, катучим камнем докатившись до Парижа, снимется с Акумовны родительское проклятие и подышит Акумовна воздухом, которым девять лет не дышала, и уж не надо ей будет к государю добиваться, не надо будет пить настой из лошадиного навоза.

Там, где-то в Париже, не погибнет и ее Вера, давным-давно погибшая на Бурковом дворе.

Вера побеждала всякое сомнение, рассеивала силою своей и крепостью всякое беспокойство, Маракулин верил в Плотникову тысячу, как сам Плотников верил в него.

Всего неделя оставалась Сергею Александровичу до его заграничного отъезда, и было решено, что с театром он поедет вперед и оттуда, из Парижа, напишет, а к тому времени получатся деньги и чуть ли не весь Бурков двор двинется прямо с Фонтанки - в Париж.

И наступившая неделя, полная тревоги и ожидания между верою и сомнениями, надеждой и безнадежностью, сама по-своему все решила.

У Анны Степановны кончились экзамены, и, должно быть, таинственные обмундировочные, штатные, или подъемные, или прогонные - все по-разному их звали, получились наконец. А такие деньги, как оказалось, однажды выдаются учителю, и, само собой, Леднева от места ей отказала. Анне Степановне будто бы и трудно в гимназии и недочеты за ней водятся,- кофточку с открытой шеей носит она, неприлично, и улыбка у ней такая, батюшку - законоучителя Аристовулова улыбкою смущает она, тоже неприлично, пойдет слава, скажут: в ледневской образцовой гимназии учительница батюшку совращает,- и это совсем неприлично! Словом, уж если захочет человек человека по какой-нибудь своей бесспорной причине опачкать, так уж постарается, на то он человек! Само собой, и кофточка с открытой шеей и батюшка Аристовулов, совращаемый Анной Степановной, все это тонуло в излюбленных рассуждениях о добрых делах вообще, о упадке нравственности и о безнравственности и о молодом деле, которое надо поддержать, и о жертвах: сама она, Леднева-начальница, в своей собственной гимназии бесплат-но уроки дает и к тому же кормит двадцать учителей, и все ее, Ледневу-начальницу, хорошо знают - весь Петербург, и сама генеральша Холмогорова - ее друг.

Так все просто кончилось у Анны Степановны, очень просто, и пошла она, улыбаясь,- больно на душе было за ее улыбку,- пошла от Ледневой по своей дорожке - от Лещева к Ледневой, от Ледневой к Петровой, от Петровой к какой-нибудь сестре Ледневой, пока не перестанет улыбаться.

И пришел наконец так долго, так много, так нетерпеливо ожидаемый ответ от Плотникова:

через банк перевел Плотников Маракулину двадцать пять рублей.

И уехал Сергей Александрович с театром за границу - в Париж, побеждать русским искусством сердце Европы.

Перед отъездом нанял он дачу где-то в Финляндии и уговорил Веру Николаевну и Анну Степановну поселиться вместе с Василием Александровичем, за которым все еще требовался внимательный уход да и не скучал чтобы он очень беспятый с своей палочкой.

И во главе с рабыней Кузьмовной двинулись вместо Парижа куда-то в Тур-Киля: и Вера Николаевна, и Анна Степановна, и Василий Александрович клоун.

И остались на Бурковом дворе лето летовать Маракулин да Акумовна.

- Я к государю пойду: как помирать, руки так... и все расскажу! Я к государю пойду, нагишом пойду, нагая: как помирать, руки так... и все расскажу.

Но Маракулин ничего уж не возражал Акумовне и даже не сказал ей ее же словами ее конечное, ее отходное - кару и награду людям: обвиновать никого нельзя!

Все в нем как-то замолкло и заглохло.

* * *

Одному надо предать, чтобы через предательство свое душу свою раскрыть и уж быть на свете самим собою, другому надо убить, чтобы через убийство свое душу свою раскрыть и уж, по крайней мере, умереть самим собою, а Маракулину, должно быть, надо было талон написать как-то да не тому лицу, кому следовало, чтобы душу свою раскрыть и уж быть на свете не просто каким-нибудь Маракулиным, а Маракулиным Петром Алексеевичем видеть, слышать и чувствовать.

Но он не вынес жизни так не для чего, только видя, только слыша, только чувствуя, и запросил покою, выдумал себе генеральшу - бессмертную, безгрешную, беспечальную вошь, и нашел себе ее царское право в надежде вернуть свою потерянную необыкновенную радость.

И вот на ровном и прямом безнадежном его пути, где пропадала последняя тень и след надежды, уж заработали тихие и цепкие, как червячки, злые темные силы надвигавшегося отчаяния, и отгрызая и отвязывая от жизни его крепкий стержень и основу жизни.

С утра до вечера ходил Маракулин по Петербургу из конца в конец, от заставы до заставы, от тракта до тракта, ходил, как мышь в мышеловке.

В кармане лежала у него новенькая Плотникова бумажка - двадцать пять рублей, как лежал когда-то новенький шелковый Дунин платок, с его меткой, вышитой крестиком, и он забыл о новенькой Плотниковой бумажке, как когда-то о Дунином шелковом надушенном платке.

И все-таки до чего живуч человек: бросает его, бьет его, а он знай себе, как петух резаный, и без головы ходит, ровно бы и безголовый зерно ищет, хорохорится.

Нашел себе Маракулин занятие, нашлось ему, чем душу отвести он сделал открытие, и по важности своей это открытие его ничуть, кажется, не уступало хотя бы тому же плотниковскому запойному предприятию эксплуатации мухи как двигателя.

Стоит будто бы выйти на улицу, как независимо от воли твоей попадешь под власть особо-голичного закона и уж не от тебя зависит, как ступать и как держаться, а от какой-то волны или струи уличной, в которую попадешь.

Попадешь в одну волну, и словно все смеются над тобой гримасничают тебе, фыркают - это женщины, а мужчины губы выпячивают, так катушкой губы вертят, словно свистнуть собираются, а вот катит другая волна - и вид совсем другой, у мужчин лица зверские, хмурые, угрюмые, редко встретишь женщину, а если уж попадетсЯ, то в одиночку - идет и хохочет, никого не видит, как слепая, и хохочет, а вот и еще волна широкая - одни женщины.и нет, кажется, злее глаз и злее улыбок, они, осматривая одна другую, колят глазами и улыбаются, словно шпаря улыбкой одна другую, злые жены, а вот и еще волна - люди как люди, идут ску-ченно, бодро, а между ними и не дети вовсе, а уродцы-карлики изможденные, с болтающимися, как плети, вялыми руками и не по росту огромной с наклоном вперед головой, и еще есть много и разных волн, и есть волна относливая - попадешь, и погонит тебя, все бегут - и люди, и лошади, и старики, и дети, и старухи, и трамваи, и автомобили.

И сделав это открытие свое, Маракулин ухватился за него с упорством, как, бывало, за отчет директору.

Ведь он теперь все равно как уж мертвый, ведь его похоронили. "А мы тебя, знаешь, Петруша, давно похоронили!" - вспоминались ему слова Глотова-кассира, Александра Ивановича, сказанные тогда в театре.

Да, давно похоронили, и он, как мертвец, как покойник, как нездешний, может легко и просто и беспристрастно за здешними, за живыми следить.

И теперь он будет проверять себя, свое открытие.

Но для чего проверять, и какой смысл в его открытии, кому оно понадобится, и для чего, для удовольствия какого мертвеца, покойника, нездешнего или здешнего, живого?

Этого он не спрашивал, это не касалось его,- все в нем как-то замолкло и заглохло, и просто, должно быть, не для чего, как не для чего резаный петух хорохорится.

Но он ошибся, проверять некогда было.

Проходя ночью по Невскому, Маракулин встретил Верочку.

Так было у Думской каланчи делали облаву, и, как всегда, по Невскому металась сотня безалаберно разодетых женщин, хватаясь за прохожих и умоляя только проводить немного, и среди этих женщин бросилась в глаза одна, так же нелепо, как и другие_перескакивавшая с тротуара на мостовую и с мостовой на тротуар, только вся в темном, она, миновав околodочного, пустилась к Аничкову мосту.

В этой одинокой темной - все было на ней темное, и платье, и шляпа, и перчатки - он узнал Верочку.

И вдруг вспомнив о новенькой Плотниковой бумажке и комкая двадцатипятирублевку,- теперь он не нищий! - бросился он ей вдогонку.

Но у Аничкова моста Верочка, смешавшись с толпою встречных, пропала.

- Верочка,- покликнул он, озираясь то на Фонтанку, то на Невский,Верочка! - И темное, что-то холодное обвилось змеей вокруг его сердца.

И наутро первое, что в нем подумалось и твердо решилось, непременно с вечера же идти на Невский и караулить Верочку.

И день он просидел дома.

В этот день приходился Семик - четверг перед Троицей, и Акумовна особенно гадать

собиралась: семицкое гаданье, по ее словам, особенное, как и сон семицкий, всю правду скажет.

На Бурков двор зашли бродячие музыканты: гармонья и бубен.

На гармонье играл какой-то из мастеровых - не то слесарь, не то водопроводчик - высокий, черномазый, а бубном пристукивала девочка в матросской рубашечке и шапочке, так лет двенадцати девочка, не разобрать точно: у девочки ноги не было, одна нога. Она опиралась на палку, и на согнутом колене держала бубен.

Девочка пела под гармонью.

Она пела какую-то фабричную песню, в которой шли впережку и стихи вроде: "Я опущусь на дно морское, я полечу за облака" - и из цыганских всяких троек и жгучих очей, и чувствительные слезинки, и вдруг прорывало стариной старинной. Выговаривала она чисто, все можно было расслышать, каждое слово. Но дело не в слове.

Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степную ширью и морским раздольем упоена была песня.

И бубен падал, как падает сердце.

Обступили музыкантов ребяташки, бросили свои дикие игры и дикие работы, кругом стали, притихли и, не отрываясь, глядели на одноногую девочку, как когда-то на кошку Мурку, катающуюся по камням от боли.

А девочка пела.

Персианин-массажист из бань, он всегда около ребяташек, тут же примостился, кружил белками.

А девочка пела.

Широким грудным альтом пела девочка, постукивая бубном. Степную ширью и морским раздольем упоена была песня.

И бубен падал, как падает сердце.

Ребяташки все теснее придвигались к одноногой девочке, словно не хотели отпускать ее от себя. И закрыли ее всю собою, так что ее не видно стало, и казалось, что земля пела, степь пела, море пело - ширь и раздолье, сердце земли. И было страшно, вот кончится песня, вот кончит петь девочка и уйдет. Не хотелось, чтобы она уходила.

Но пение кончилось. Играла одна гармонья. Девочка, опираясь на палку, заковыляла по щебню и, словно кружилась по двору с своим протянутым бубном и без улыбки открытым чистым лицом, глядела вверх к окнам, как тогда кошка Мурка, катаясь по камням от боли, глядела вверх к окнам.

Акумовна как-то по-детски горько заплакала, все, должно быть, вспомнив, все свое: катушим камнем коло белого света!

Маракулин бросился на улицу и уж за воротами догнал музыкантов.

- Как зовут тебя, девочка? - тронул он ее за руку.

- Марья,- ответила девочка, без улыбки глядя на него открытым чистым лицом.

Гармонист тоже остановился, приподнял картуз, должно быть, отец, черномазый, щербатый.

Маракулин схватился за новенькую Плотникову бумажку, скомканную, сунул ее девочке, двадцать пять рублей, и, не оглядываясь, пошел.

А вдогонку за ним снова неслась широкая песня. Степную ширью и морским раздольем упоена была песня.

И бубен падал, как падает сердце.

Он шел по своему ровному прямому пути на Невский. Уж наступала ночь.

Там, на Невском, дождется он Верочку. Он всю ночь будет караулить ее.

И не ошибется, ведь белая ночь - белая не обманет!

Ночь-то белая не обманет: какая-то женщина вся в темном толкнула его и, придерживая платье, пустилась к Аничкову мосту.

Все было на ней темное, и платье, и шляпа, и перчатки - он узнал Верочку и бросился за ней.

Но у Аничкова моста Верочка смешалась с толпою таких же, - она не одна была в темном.

- Верочка, - кликал он, - Верочка! - заглядывая в глаза каждой темной, и не две, не три, их было много, все они увертывались от него и снова где-то собирались и словно подползали к нему тихо и незаметно, темные и тихие, и темное, что-то холодное обвивалось змеей вокруг его сердца.

* * *

И ночью, в эту семицкую ночь, приснилось Маракулину, будто сидит он у стола за самова-ром, в какой-то большой заставленной комнате, и все разбросано и раскидано, как после сборов перед отъездом, и люди все незнакомые - усталые какие-то, понурые в комнате.

А по соседству с ним, и это он с отвращением заметил, курносая, зубатая, голая и с нею еще кто-то в темном - нагнулись над рухлядью, разбирают тряпки.

И в досаде, схватив стакан, он наметил пустой голый череп.

А она, курносая, зубатая, голая, поднялась да к двери:

"В субботу, - стучит зубами, смеется, - ты не забудь дать фунт Акумовне, - стучит забами, смеется, - а мать будет в белом!" - смеется зубатая.

"Чего фунт, крупы, что ли? или серебра? - заспорил он с ожесточением, словно бы оспаривая какое-то последнее право свое не подчиняться никаким срокам, никакой субботе: - Да ну же, не дурачься! настоящий фунт стерлингов, да?"

"В субботу!" - смеется курносая, зубатая, голая и, не оглядываясь, стучит уж по каменной лестнице вниз во двор.

А на дворе - полон двор.

Да это Бурков двор, высыпали жильцы из всех квартир и из флигеля и горбачевских углов: все семь дворников - старший Михаил Павлович и Антонина Игнатьевна, и паспортист Еркин, Станислав-конторщик с откушенным носом, и Казимир-монтер, швейцар Никанор и Ванюшка, Никаноров сын, приговоренный ребятишками к смертной казни через повешение, и ребятишки, приговорившие Ванюшку, и персианин-массажист из бань, и та девочка, которая Мурке молока принесла, и сапожники, пекаря, банщики, парикмахеры, портнихи, белошвейки,

сиделка из Обуховской больницы, кондуктора, машинисты, шапочники, зонтичники, щеточники, водопроводчики, наборщики, и разные механики, и мастера электрические с семьями, и всякие барышни с Гороховой и Загородного, и девицы-портнишки, и девицы из чайной, и шикарные молодые люди из бань, прислуживающие петербургским дамам до востребования, и старуха, торгующая у бань подсолнухами и всякою дрянью, и кухарки без места, и маляр, и столяр, и сбитенщик, и все разносчики,- словом, весь Бурков дом - "весь Петербург".

И все глядят вверх к окну; Как глядела кошка Мурка катаясь на камнях от боли, как глядела бродячая певица-девочка Марья, кружась по двору на одной ноге с своим бубном.

"Что она сказала?" - спрашивают Маракулина. А Маракулин стоит будто в окне, как какой-нибудь старец Кабаков, молитвою вызывающий глас с небеси, стоит перед народом.

"Один из нас умрет!" - говорит Маракулин.

И в ответ шепчет ему весь Бурков двор в тоске смертельной.

"Не я ли, господи? Не я ли, господи?"

А высоко, куда выше четырех кирпичных бельгийских труб с громоотводами, парят зеленые, как птицы зеленые, аэропланы, и громадными зелеными крыльями застилают небо.

"Не я ли, господи? Не я ли, господи?" - шепчет весь Бурков двор в тоске смертельной.

И уж идет будто Маракулин домой на Фонтанку и странно, слышит, как звонят ко всеобщей у Воскресения в Таганке, и не на парадное входит он, а с кухни, приотворяет дверь - у плиты в кухне сидит какая-то женщина, на Акумовну похожа, только и не Акумовна, вся в белом.

"Мать будет в белом!" - вспомнились ему слова курносой, зубатой, голой, и он бросился в комнату.

Та же комната, вся заставленная, и все разбросано и раскидано, как после сборов перед отъездом, только нет людей незнакомых, ни души в комнате, только мать сидит, одна его мать с крестом на лбу.

"Уж пришла, села!" - говорит мать.

Она говорит про ту, которая в кухне перед плитой сидит в белом, и вдруг заплакала.

А он стал на колени, наклонил, как под топор, свою голову в отчаянии и тоске смертельной...

В отчаянии и тоске смертельной проснулся Маракулин.

Была пятница.

И пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему - суббота, один день остался, он поledenел весь.

И не хотел верить сну, и верил, и, веря, сам себя приговаривал к смерти.

Родится человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но час смерти утаил от него.

И, поверив сну своему, почувствовал Маракулин, что не вынесет, не дожидается субботы и в отчаянии и тоске смертельной, с утра бродя по улицам, только и ждал ночи:

увидать Верочку, все рассказать ей и проститься.

А на его ровном и прямом безнадежном пути, где пропала последняя тень и след надежды, тихие и цепкие, как червячки, злые темные силы надвинувшегося отчаяния отгрызали последние связи его крепкой основы жизни.

Трудно было ему отрываться от жизни.

"А может быть, сон-то сном, а на проверку совсем и не то выйдет, почему это он так пове-рил сну? И разве можно верить какому-то сну, этак, пожалуй, бог знает, до чего дойти можно! И никогда так не бывает: перед смертью снится всегда что-нибудь совсем простое,- сапог теряют или еще что-нибудь, или за границу собираются ехать..."

Маракулин, вспомнив о загранице, о том своем рае - Париже, очнулся.

Он стоял около какого-то забора, сплошь заклеенного объявлениями, и не мог признать, где, на какой улице стоит он. Из-за деревьев глядел шпиль Инженерного замка, но когда он пошел по забору и, как казалось ему, прямо на шпиль, шпиль вдруг пропал. А дальше он идти не решался, словно бы дальше и была его суббота, срок, час его.

Повернул он обратно, и опять увидел шпиль, и смело пошел вдоль забора в противополож-ную сторону, и шпиль долго держался перед глазами, но так же, как и в первый раз, вдруг про-пал. А дальше он идти опять не решался, словно бы дальше и была ему суббота, срок, час его.

И он ходил по забору, следя за шпилем Инженерного замка, взад и вперед до положенной самому себе грани, в отчаянии и тоске смертельной.

Это беда его водила, беда метала с улицы на улицу, из переулка в переулок, отводила ему глаза, путала,- это судьба его, которой не поперечишь и от которой не уйти.

Тоска своей смертельностью и отчаяние своей тяжестью наконец утомили его, срок и час забылись, голова опустилась, и еще крепкие ноги вывели его на дорогу: он шел по Инженерной, переходил улицу к Михайловскому дворцу.

И вот какая-то старушонка, рваная, сморщенная, слезящаяся вся, уцепилась ему за руку перевести ее через улицу. И хотя была такая маленькая - кости одни, вцепившись костлявыми пальцами и повиснув, как безногая, показалась ему такой тяжестью, едва до рельсов дошел. А когда переступил рельсы, тяжесть старушонки словно еще увеличилась, и уж как под трамвай не попал он, одному богу известно: мчавшийся, без умолку звонивший трамвай пролетел так близко, что жарко стало.

Бросив старушонку, пустился Маракулин бежать.

И, пламенея и леденея, бежал он к Нарвским воротам, от костлявой старушонки бежал, от срока своего бежал, и почему-то к Нарвским воротам, куда-то под Нарвскую арку, где, как каза-лось ему, нет и не будет костлявой старушонки, где забудет он о сроке, о своем часе, о субботе.

Но почему-то дойдя до Гороховой, не пошел по Садовой, а повернул по Гороховой к Фонтанке.

На Фонтанке около Буркова дома в переулке ловили какую-то барышню, должно быть, революционерку. Городовые оцепили переулок, и проходу не было.

Маракулин остановился.

За барышней долго гонялись, и наконец какие-то в штатском, верно сыщики, тесно окружили ее и повели к извозчику.

Чем-то напоминала барышня-революционерка бродячую певицу-девочку, или открытым чистым лицом своим напоминала она Марью, только румяная и высокая. Шпильки выпали у ней, и соломенная шляпа сбилась, и растрепались большие русые волосы.

Сел с ней пристав на извозчика, и повезли.

"Мария Александровна,- подумал Маракулин,- вот она какая, Мария Александровна, в жертву себя уготовавшая, готовая и не однажды, а еще и еще раз умереть за человечество!" - и пошел дальше мимо Буркова дома по Фонтанке.

У Измайловского моста, шагах в трех от пивной, он догнал какую-то даму: не молодая уж, вся седая, но крепкая, здоровая, шла она ровным шагом, словно гуляя для моциона.

И когда Маракулин хотел обогнать ее, вдруг она пригнулась и как-то глупо побежала, и в то же самое время из пивной один за другим выстрел и караул!

И на тротуаре уж с пробитой спиной, уткнувшись в камни, лежала дама здоровая, крепкая старуха, и рядом складной стульчик. ""Вот тебе и бессмертная!" - подумал Маракулин, узнав в убитой старухе свою несчастную генеральшу - сосуд избрания, ту самую генеральшу-вошь, которую наделил он царским правом в свою жестокую бурковскую ночь.

И вот царское право слепую случайностью отнято, не помог складной стульчик!

С Фонтанки и переулков сбегался народ, с любопытством, с ужасом и с тем особым злорад-ством, с каким смотрят живые глаза в мертвые, засматривали в лицо убитой.

А она, бессмертная, безгрешная, беспечальная, неподвижно лежала с пробитой спиной, беспомощная, бездыханная, несчастная.

- Это наша бурковская, генеральша Холмогорова! - сказал Маракулин подбежавшему городовому.

Понесли генеральшу - белый газ на ее шляпе, развеваясь, тянулся за нею паутиной.

И Маракулин шел за нею впереди толпы за складным стульчиком.

И опять мимо дома, не заходя домой, вышел он на Гороховую и так по Гороховой шел до самого Адмиралтейства, повторяя бессмысленно!

"Вот тебе и бессмертная! Вот тебе и бессмертие!"

В Александровском саду он было присел на скамейку и вдруг, как ужаленный, вскочил и опять пошел.

Около памятника Петру остановился.

- Петр Алексеевич,- сказал он, обращаясь к памятнику.- Ваше императорское величество, русский народ настой из лошадиного навоза пьет и покоряет сердце Европы за полтора рубля с огурцами. Больше я ничего не имею сказать! - снял шляпу, поклонился и пошел дальше, по Английской набережной через Николаевский мост на Васильевский остров.

На бульварчике между седьмой и шестой линией за Средним проспектом народ запрудил дорожку. Все стояли, и хоть бы кто слово сказал, так было необычайно тихо.

Под деревом сидела старуха и, трясая головой, опутанной тяжелыми белыми волосами,

только смотрела, и не слезы, кровь текла по щекам из ее смиренных глаз тихими струйками

"Не дождалась,- подумал Маракулин,- Лизавета Ивановна не дождалась, не сделала божьего дела, не передала своего счастья, несчастная!"

И вдруг почувствовал страшную жажду, словно бы ожгли его эти кровавые тихие слезы.

Недалеко от Малого проспекта, на седьмой линии, около огромного дома, в маленьком одноэтажном домишке пивная. Какой-то заваливающий гривенник нашелся в кармане, и Маракулин завернул в эту пивную: жажда мучила его невыносимо. Он сел за грязный залитый столик лицом к окну, взял газету так, не читать, а так.

- Голодного накормить можно, бедного обогатить можно,- донесся знакомый голос и слова знакомые,- а коль скоро ты влюблен и предмет твой тебе не взаимствует, тут, хоть тресни, нет помощи!

"В Муркин день беспокойный старик Гвоздев, вот кто это говорил!" вспомнил Маракулин и, положив газету, схватился за теплое пиво.

- Шутите все, Александр Иванович, я, Александр Иванович, намедни мышью съел на Афонском подворье, за пять рублей съел-с, с братией афонской спор держали. "Съешь, говорят, Гвоздев, твоя пятерка, а не съешь, нам подавай!" Хорошо, изловили сейчас мышку, на подворье мышей много, серенькая такая, мышонок. Снял я шкуру с мышонка, поджарил его немножко с боков для вкуса, разрезал на ломтики, посолил, благословился и скушал. Мышку-то скушал-с и забрал пятерку, а самого смех душит, говорю: "Еще афонские, хе, пятерку за мышонка, да я у Прокопия Праведного этакую крысицу за рубль без соли съел!"... Мне, Александр Иванович, хоть бы только как-нибудь прожить!

А в ответ Гвоздеву протянулся чей-то растроганный голос:

- Из-за вас я погибаю, славненькие глазки!

- Я сам, Александр Иванович, до женщин охотник! И уж что-то грузно повалилось на липкий пол и забарахталось и заплакало горько, как только плачут дети, как Акумовна плакала горько, все вспомнив под пение Марьи, все свое,- свой катуший камень.

Допив теплое пиво и пуще растравив жажду, Маракулин вышел. Он шел по своему ровному прямому пути на Невский. Уж наступила ночь. Там, на Невском, дождется он Верочку. Он всю ночь будет караулить ее. Увидит Верочку, все ей расскажет и простится с ней.

И не ошибся, ведь белая ночь - белая не обманет! Ночь-то белая не обманет. Верочка сразу появилась, он узнал ее в темном.

Но и замер от ужаса: все женщины до одной были в темном - все было темное, и платье, и шляпа, и перчатки.

И они не увертывались, они шли уверенно и важно мимо городского в белом, огибая городского в белом, словно в каком-то старинном торжественном танце, от Знаменья до Адмирал-тейства и от Адмиралтейства до Знаменья.

- Верочка,- кликал он,- Верочка! - заглядывая в глаза каждой, ни одной не пропуская, и темное, что-то холодное обвивалось змеей вокруг его сердца.

Это отчаяние обвилось вокруг его сердца.

И уж смерть извилистыми окольными путями подходила к его порогу.

И всю ночь бродил он в отчаянии и тоске смертельной, заглядывая в глаза каждой, ни одной не пропуская, останавливался на Аничковом мосту и там стоял, пропуская их всех перед собой.

И они огибали его, как городского в белом, шли уверенно и важно, словно в каком-то старинном торжественном танце, от Знаменья до Адмиралтейства и от Адмиралтейства до Знаменья.

И когда взошло солнце и все они темные сгнули куда-то, не осталось ни одной темной, никого не осталось на Невском, только городские в белом, Маракулин повернул по Литейному к Финляндскому вокзалу.

Он вдруг решил, и это как-то само собою решилось: он поедет в Тур-Киля на дачу к Василию Александровичу, к Вере Николаевне, к Анне Степановне, они ведь его сколько раз выручили, они его выручат, они ему молока дадут, ему есть хочется, - ему ведь всего двенадцать лет! - они ему молока дадут.

Была троичская суббота - канун Троицы, и по Литейному уж везли троичские деревца:

кудрявые зеленые возы тянулись по улице, такие зеленые - молоденькие березки.

На Финляндском вокзале поездов еще не было и пришлось бы ждать, а сидеть на вокзале не хотелось, и Маракулин пошел по шпалам, но, пройдя немного, у моста сошел с путей, сел у канавы и заснул.

И спал он крепко, как спал, должно быть, Плотников те двое суток своих в несчастном жестоком запое.

Когда же Маракулин проснулся, был вечер - конец субботы.

И снова пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему - суббота, он поledenел весь.

И не хотел верить сну своему, и верил, и веря, сам себя приговаривал к смерти.

Родится человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказано день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но час смерти утаил от него.

И суббота наступила, суббота подходила к концу, срок настал, и час близился.

А на его ровном и прямом безнадежном пути, где пропала последняя тень и след надежды, тихие и цепкие, как червячки, злые темные силы надвинувшегося отчаяния догрызали последние связи его крепкой основы жизни:

Трудно ему было отрываться от жизни.

"А может быть, сон-то сном, а на проверку совсем и не то выйдет, почему это он так поверил сну? И разве можно верить какому-то сну, этак, пожалуй, бог знает до чего дойти можно! И почему он Акумовне не рассказал этот сумрачный сон свой, ну пусть бы Акумовна сообразила, она ведь божественная, она сказала бы, правда или неправда".

Маракулин бросился к трамваю, уже сел в трамвай, но, вспомнив, что у него нет ни копейки и последний завалящий гривенник он в пивной оставил, соскочил и, чуть не обгоняя трамвай, побежал на Фонтанку.

И он добежал до Фонтанки, до Буркова дома, но в квартиру нелегко было ему проникнуть.

Ему казалось, что звонил он с полчаса, по крайней мере, а никто не отпирал и не подавал голоса, и бросил он звонить, принялся стучать в дверь, но и на стук никто не отозвался, в квартире было тихо, и только ветер посвистывал в щели - должно быть, трубы в печах были открыты, жутко посвистывал ветер.

Еще позвонил Маракулин, еще постучал, постоял, подождал и спустился в швейцарскую, но и Никанора не оказалось - куда-то в лавочку ушел, а Ванюшка, Никаноров сын, ничего не знает: видел Акумовну поутру и больше к ней не подымался, Акумовна дома, а сам все смеется чего-то.

"А если дома Акумовна, то отчего не отзывается и дверь не отпирает, ведь он же с полчаса звонил, по крайней мере, и стучал не меньше, уж не померла ли старуха?"

И он вышел в переулок, и, зайдя в ворота, пошел к черному ходу.

Странно, подымаясь на лестницу, вдруг услышал, как звонят ко всеобщей в Москве у Воскресения в Таганке, и в тревоге удрило сердце.

Дверь в кухню оказалась незапертой.

Акумовна сидела у плиты, и голова у ней была повязана белым,- в белом платке.

"Мать будет в белом!" - вспомнились ночные слова из семицкого сна.

И перед Акумовной на блюдечке лежали два яйца, третье яйцо она ела.

"Фунт! - мелькнуло у Маракулина,- вот он какой фунт!"

Акумовна не улыбалась, и глаза были чужие, какие-то выпученные.

И не Акумовна это у плиты сидела, нет, только похожая на Акумовну.

И ужас обуял Маракулина.

- Батюшка барин, - поднялась вдруг Акумовна, но не своим голосом сказала она, сиплым пропойным, только похожим на Акумовнин.

И, потеряв последние силы, Маракулин схватился за косяк двери и застонал.

- Батюшка барин, господь с вами, батюшка барин, Петр Алексеевич, сейчас самоварчик, сию минуту! - затопталась по-настоящему настоящая Акумовна и, бросив яйцо, ухватила со стола красный журавлевский самовар, застучала трубой.

Маракулин опустился на Акумовнину табуретку, но сказать ничего не мог, сжимало горло и губы дрожали

- Батюшка барин,- топоталась Акумовна около самовара,- со мною-то что было, чуть было не померла я, да спас господь, смиловался.

А с Акумовной подлинно такое было,- и как это она еще не свихнулась, действительно спас господь, смиловался. И уж немудрено, что ни звонка, ни стука она не услышала. И как еще Маракулина она признала и голоса хватило у ней слово сказать, и помогут ли ей яйца, а ела она их, чтобы, хоть сипло, да все-таки говорить, не мычать по-коровьему, замычишь и по-коро-вьему!

Ползла Акумовна утром на чердак, белье у ней там кое-какое на чердаке висело, белье

пошла поснимать, чтобы к Троице выгладить до всенощной, а кто-то и подшутил над ней на чердаке ее запер. Стала она кричать и немало времени кричала, да услышать невозможно, некому: все квартиры пустые кругом - все на дачу уехали. И никому на чердак не надобится: ни одна кухарка, ни одна горничная на чердак не толкнется. - нет никого. И знает она, бесполезно, а кричит. Да и как не кричать! На чердаке оставаться - а до которых же пор? до осени? когда с дачи вернутся? или когда смилуется над ней кто ее запер и придет и выпустит, а на это можно ли рассчитывать, ведь и забыть могли, за делами забудется, мало ли! - оставаться ей на чердаке тоже никак нельзя. И уж голосу нет. И полезла она в потемках по чердаку шарить, забитое окно разыскивать: вспомнила, где-то под самой крышей было окно. Шарила она, шарила - нашла щелку, разыскалось окно. Вцепилась она в доску, доску отдирать, да крепко доски держатся, сколько ни бьется, все крепко сидят, и щелка маленькая, разве что мышонку пролезть. Да поднаселла, ухватилась она обеими руками и высадила. Слава богу, вольный свет! Перекрестилась да на крышу и поползла, да с перепугу на тот конец - на парадный к казармам поползла, ползет, ступить боится - нога скользнет, а сама кричит. Доползла до трубы, встала она у трубы. сняла башмаки, кинула на улицу. Какие-то ребята подхватили башмаки и унесли. И стоит она у трубы босая, держится за трубу, кричит. И знает, что кричать так просто, не послушают, и кричит она, что барин, мол, вернулся, звонит барин, а она отпереть не может. Да шум на Фонтанке, пароходы, гудки автомобилей заглушают всякий крик. Босиком без башмаков не оскользнешься - пошла она от трубы, бродит по крыше и кричит свое: барин, мол, вернулся, звонит барин, а она отпереть не может. Услыхали маляры - соседскую крышу маляры красили: "Чего, говорят, бабка, кричишь, прыгай к нам!" - смеются. А как она к ним прыгнет, лестницу не дают, все лестницы заняты, она ведь не кошка. Но прошел первый страх, услышала голос чело-веческий, обвыклась она и сообразила: на другой конец, черный, перейти ей и там по желобу во двор спуститься. Если по желобу влезать, рука может оmlеть, а если по желобу спускаться и труба из рук не выскочит, то совсем легко - так и покатишься. Сообразила она, вспомнила и пошла на другой конец, на черный, и уж прямо к желобу - голова у ней на высоте не кружится - да, ухватившись обеими руками за коронку желоба, ноги спускать стала, и уж трубу ловит, чтобы ногами прихватиться... "Остановись, бабка, - кричит Никанор, - не лась, отпру!" смеется. Ну, тут она обратно через всю крышу в окно да на чердак.

- Шесть часов промаялась, батюшка барин, чуть было не померла, да спас господь, смилосердился!

Самовар между тем поспел, красный журавлевский певун попыхивал, налаживаясь запевать вечернюю песню.

Маракулин, за рассказом оправившись, прошел к себе в свою комнату.

"А возможно, что весь сумрачный сон его не к нему вовсе, к Акумовне относился. Или это невозможно, за другого нельзя видеть! А почему бы и не увидеть!"

Но суббота еще не кончилась, шла ночь, наступили последние часы, близился час идти на ответы:

самому отвечать и требовать ответов.

Акумовна принесла самовар, доела для голоса яйца и вернулась к Маракулину и по привычке с картами в руках. Но Маракулин отказался от карт, ему не надо гадать он ей свой сон семицкий расскажет, только пусть она скажет правду.

И стал он рассказывать весь свой сумрачный сон по порядку, отчетливо он его помнил, и рассказал он про курносую, зубатую, голую назначившую ему срок - субботу, и о матери своей с крестом на лбу, как заплакала мать.

- Что этот сон означает, Акумовна!

Молчала Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.

И снова пораженный внезапной сумрачной мыслью, что срок ему - суббота, он поледенел весь.

"Стало быть,- подумал он,- все правда,- и почему Акумовна молчит! стало быть, правда, сейчас через несколько минут наступит ему срок, его час - конец?"

Родился человек на свет и уж приговорен, все приговорены с рождения своего и живут приговоренными и совсем забыв о приговоре, потому что не знают часа, но когда сказан день, когда отмерено время и положен срок, указана суббота, нет, это уж выше сил человеческих, данных богом человеку, которого, наделив жизнью, приговорил, но час смерти утаил от него.

Акумовна, так правда это или неправда?

- Я черный человек, я ничего не знаю,- ответила Акумовна, и улыбаясь и поглядывая как-то по-юродивому, из стороны.

И вот часы на кухне захрипели и медленно стали отбивать часы час за часом.

И пробило двенадцать.

Кончилась суббота,- началось воскресенье.

- Акумовна, двенадцать пробило? - робко Маракулин.

- Двенадцать, ровно двенадцать.

- Настало воскресенье?

- Воскресенье, воскресный день, спите спокойно.

Господь с вами!

Акумовна, оставив певучий журавлевский самовар, пошла себе на кухню спать.

А разве он может спать?

Выждав, пока Акумовна уgomонилась, и прикрыв самовар, Маракулин взял подушку и, положив подушку на подоконник, как делают бурковские жильцы, летующие лето в Петербурге, прилег на нее и, держась руками за подоконник, перевесился на волю.

Нет, он не заснет, он во всю ночь не заснет суббота кончилась, настало воскресенье!

Было пусто на дворе, ни одного человека, и ни одного человека в окнах, только он один.

И вдруг он увидел на мусоре и кирпичах вдоль шкафчиков-ларьков от помойки и мусорной ямы к каретному сараю все зеленые березки,- весь Бурков двор уставлен был березками,- и зеленые такие, зеленые листики.

И почувствовал он, как медленно подступает, накатывается та самая прежняя необыкновенная его потерянная радость: ключом выбивала откуда-то из-под сердца эта его необыкновенная радость горячая, и росла, наполняя сердце, и, горячая, заполняла грудь.

Уж ничего не видел он, только видел он березки, и вдоль березок, сама как березка, та Вера - Верушка - Верочка... и слипались ее руки с листьями, от листка к листку пробиралась она к сараю, будто по воздуху, и словно земля проваливалась по следу ее.

И вот перепорхнуло сердце, переполнилось, вытянуло его всего, вытянулся он весь, протянул руки -

И, не удержавшись, с подушкой полетел с подоконника вниз...

И услышал Маракулин, как кто-то, точно в трубочку из глубокого колодца, сказал со дна колодца:

- Времена созрели, исполнилась чаша греха, наказание близко. Вот как у нас, лежи! Одним стало меньше, больше не встанешь. Болотная голова.

Маракулин лежал с разбитым черепом в луже крови на камнях на Бурковом дворе.

1910, 1922